

Отец Российского Футуризма

ДАВИД БУРЛЮК

О Ш И М А

Ц В Е Т Н А Я
Г Р А В Ю Р А

ИЗДАНИЕ
МАРИИ НИКИФОРОВНЫ БУРЛЮК

к 84/2 = 140) 4
Р. 2. 100
591

ДАВИД Д. БУРЛЮК

1938

ПОЭТ,
ХУДОЖНИК,
ЛЕКТОР.

ОТЕЦ
РОССИЙСКОГО
ФУТУРИЗМА.

ОШИМА

ЦВЕТНАЯ ГРАВИЮРА.

(Японский декамерон)

(1921 год, архипелаг Кука в Вел. Океане).



ДАВИД БУРЛЮК. (масло)

Писано в 1924 г
Н. И. Фешиным.

(Из собрания
Д. Бурлюка.)

К ИЗДАТЕЛЬСТВАМ:

Эта книжка является одной из ряда книг моих о современной Японии, имеющих у меня в рукописях.

Мои заметки и записи о Японии должны представить живой интерес для русского читателя, т. к. проведя в „стране хризантем” — 2 года, я сравнительно, близко изучил особенности быта нашей Сибирской соседки, представительницы Тихо-Океанской культуры.

Издание

МАРИИ НИКИФОРОВНЫ БУРЛЮК.

1927 год.

ПЕРЕЧЕНЬ СОЧИНЕНИЙ Д. БУРЛЮКА.

- Лысеющий хвост. 2 изд. 1918 г. (Курган Сибирь).
- Бурлюк. Маруся-Сан. Стихи. 1925 г. Н. Ю.
- Д. Бурлюк. Монография на английском языке. (иллюстр.) 1925 г. Нью Йорк.
- Д. Бурлюк. Радио-манифест. (англ. текст.) с 5 илл. 1926 г. Нью Йорк.
- Д. Бурлюк. Восхождение на Фудзи-Сан (16 иллюстр.) 1296 г. Н. И. (изд. Марии Никифоровны Бурлюк).
- Д. Бурлюк. Радио-манифест № 2. (7 иллюстр.) англ. текст. 1927 г. Нью Йорк.
- Д. Бурлюк. Биография и Стихи. „Д. Бурлюк пожимает руку Вульворт Бильдингу”. 8 илл. 1924 г. (русский текст).

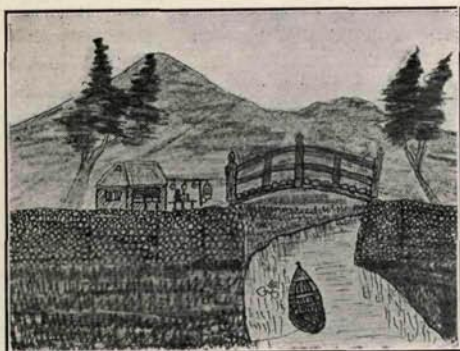
- Д. Бурлюк. „Морская повесть” (с 6 иллюстр. и портр. (Издание Марии Никиф. Бурлюк). 1927, Н. Ю.
- Д. Бурлюк. По тихому океану. проза. 14 илл. Изд. Марии Никиф. Бурлюк. 1927, Н. Ю.

Книги изданные при участии Д. Бурлюка:

- Pilgrims Almanach № 1—5. Под редакц. Ив. Ив. Народного.
- Сегодня Русской поэзии — (Нью Йорк).
- Журнал „Китоврас” 1—5 номера 1924 г. Нью Йорк.
- Свирель Собвея, сборн. Н. Ю. 1924.
- Садок Судей — 1-й — 1909 г. (Петроград).
- Садок Судей — 2-й 1911 г. (Петроград).
- Пощечина Обществ. Вкусу—1912 г. (Москва).
- Журнал Союза Молодежи. 1911-12 гг. (Петроград).

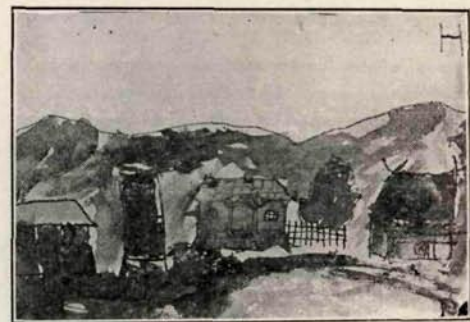
- Затычка. Сборн. 1913 г. (Херсон).
- Весеннее контрагентство Муз. Москва.
- Дохлая Луна — 2 сборн. 1914 г. (Москва).
- Молоко Кобылиц — 1913 г. (Каховка).
- 1-й Журнал русских футуристов, 1913 г. (Москва).
- Трагедия — Владимир Маяковский, 1913 г. (Москва).
- Трое сборн. 1912 г. (Москва).
- Ключ Истории. — Вел. Хлебников, 1912 г. (Херсон).
- Галдящие Бенуа, 1913 г. (Петроград).
- Московские мастера, 1914 г. (Москва). — Ред. С. М. Вермель.
- Три птицы, сборн. 1915 г. (Москва). — Ред. В. В. Каменский.
- Творения, Вел. Хлебников, 1913 г. (Херсон).
- Волчьё Солнце. — Бенед. Лившиц. (Херсон).
- Студия импрессионистов. изд. Н. Кульбина и Н. Н. Евреинова, 1907 г. (С. П. Бург.).

Эта книга с любовью
Посвящается
МАКСИМУ ГОРЬКОМУ,
Первому певцу Пролетариата,
Великому русскому Писателю и
философу.



Японский вид.

Д. БУРЛЮК.
9 лет
(сын художника)



Японский вид.
Акварель 1922 г.

Рис. Никиши
БУРЛЮК.
7 лет.
(сын художника)

Примечание: На Ошиму в ноябре 1920 года на этюды ездил автор этой книги в компании с художником **Виктором Никандровичем Пальмовым.** (ныне профессор Киевского Художеств. Института в УССР.)



Фудзи от Иошвары.

Д. БУРЛЮК.
(масло, 1921 г.)

ЯПОНСКИЙ ДЕКАМЕРОН.

I. ПЫЛЬНОЕ МОРЕ.

Днем Токийский залив, если смотреть через пыльное море черепичных кровель, кажется округлым животом океана, навалившимся на город; но теперь ночью, в узких при набережных улицах впечатление совсем иное.

Бумажные фонари бросают в темные загоулки свет испещренный надписями; на дворах харчевен вечерний ветер колеблет кубовые фартуки, а из под них несет запах рыбы, жареной на бобовом масле; но из за дома на синем фоне неба торчат острия мачт, — здесь пристань. Правда, из Токио пароходов ходит мало и малое количество пунктов, разбросанных в Великом Океане, ждет пришельца из Токийской гавани.

На Ошиму пароход отправляется, именно, только из Токио.

До Ошимы всего лишь Семьдесят верст: пароход уходит в восемь часов вечера. Это не пароход, а деревянная кубышка, но к пристани, все же он не подходит; он стоит на середине ночной реки и пассажиров к нему подвозят на плоскодонной лодке. Пароход еще движется по Токийскому заливу, а незначительные волны играют им как мальчики мячом.

На пароходе два класса.

Третий битком набит пассажирами, лежащими на полу на циновках; у двери целая куча деревянной японской обуви; во втором — трое японцев и трое русских: японцы — двое домовладельцев с Ошимы — аптекарь, хозяин гостиницы и инженер, едущий на Ошимскую электрическую станцию.

II. ЧТО ЖЕ ТАКОЕ ОШИМА?..

Для этого нужно дожидаться рассвета. Да и ответ будет, конечно, самым приблизительным. В шуме волн, свисте ветра и плеске дождя — жалобные гудки парохода остаются без всякого влияния на кого бы то ни было.

— Сильные волны, с первой остановки на Ошиму лодки не дают: но вот опять отчаянные гудки парохода; его качает так, что на гладких циновках, раздвинув руки и ноги, нельзя удержаться: все шесть пассажиров ползут то под одну стенку каюты, то под другую; вещи оказываются более прыткими и какой

нибудь маленький чемоданчик труднее попадается в руки, чем, заяц делающий петли.

Несомненно одно: начинает светать: борта парохода затянуты брезентом, он намок от непрерывного дождя и от захлестывающей волны. День мутный и серый, небо свинцовое, вдаль борта виден в полтора саженях берег, черный шероховато вдающийся низким пластом в пену вод: видны несколько домиков и лодка спускаемая в море.

В середине острова поднимаются цепью горы, оне такой величины, как южный берег Крыма у Байдарских Ворот, но характер их иной: эта цепь гор изрезана сверху до пяты оврагами: все покрыто кустарником; овраги на горах напоминают морщины, такими складками испещрено лицо вокруг рта у глубоких старух; эти морщины все сходятся к отверстию рта: кажется, будто бы гора сморщилась высыхая; или с вершины горы, из воронки ея, как из чана, переполняя ее, бежала обильная, упорная вода.

Теперь все затянато седою бородой дождя; мохнатые гучи ползут у подножья горы; оне выше домиков, но не закрывают верхнего горного зубчатого края.

Большинство пассажиров теснится к трапу. от трапа до лодки то близко, то очень далеко: японок хватают на руки мускулистые лодчишки.

Русские тоже высаживаются: их трое один полный мужчина под сорок лет в бархатных брюках и берете, другой в больших усах и очках, бывший офицер Колчаковской Армии и наконец третий с лицом желтым и волчьими маленькими глазами.

Хозяин гостиницы предупредительно раскрыл свой зонтик над художником в бархатных брюках; дождь моросит; два лодчишка, почти обнаженные, большими веслами гребут к берегу. Хозяин гостиницы ведет мимо „хотеру“ у берега и трое русских, пройдя аптеку, затем мимо парикмахерской и нескольких лавок, молочной — перед декоративными воротами из суковатых деревьев; на верхней перекладине на железном вензеле укреплен фонарь. Ограды нет ее заменяют два длинные зеленых возвышения, напоминающих крышки гробов. Дворик, среди которого стоит гостиница вмещает в себе семь деревьев (очевидно абрикосы) два ряда лиловых, как подснежники, цветов, они очень хрупки, густы: между ними аллея залитая водой по которой прыгают капли дождя. Здание гостиницы в два этажа. Дом деревянный из нижнего этажа ведет широкая лестница, как всегда в Японии очень крутая, ступеньки ея отполированы туфлями постояльцев и прилежанием горничных.

III. ЯПОНСКАЯ ГОСТИНИЦА.

Напрасно читатель стал бы искать в японской гостинице теплого номера. Утро сырое, ведь на дворе ноябрь месяц, а между тем всюду только деревянные решоточки, обклеенные белой матовой бумагой. В номерах нет ни окон, ни дверей; каждая из трех стен отодвигается и босая нога ступает на узенький корридор в три доски, застекленными отодвигающимися ширмами отгороженный от холодного осеннего ветра.

Русские оставляют свою грязную обувь у входа, да впрочем в гостиницу можно войти со всех четырех сторон: в любом месте, отод-

винув стеклянную ширму, и перешагнув три доски корридора, раздвинув бумажные — попасть на циновки номера.

Когда русские входят в свою комнату, то горничная „От акэ—сан“ приносит угли и медными палочками аккуратно укладывает их на пепел медного сосуда, стоящего среди комнаты (хибач) 1).

В комнате нет „Какемоны“. В нише висит большой лист белой бумаги, на которой несколько вертикальных строк — надписей. Над одной из выдвигающихся стен — кусок шелка на коем несколько иероглифов.

Русские чувствуют себя на даче, на юге; они удивляются всему: и этому теплему дождю, который сгибает длинные стебли бамбука между гостиницей и видом на море, и белым цветам, что раскрасились на встречу осеннему ветру: желтые лилии брошены на кучу сухих веток и листьев, но они не вянут, оторванные родимых корней. Русские в нижнем белье, поверх него надеты легкие кимоно: на полном оно плохо сходится на животе, перетянута японским поясом. Колчаковский офицер, говорящий немного — по японски, объясняется с хозяйкой гостиницы. Условились: на полном иждивении, три „гохана“ (еда) в день — по две иены 2) с человека.

В маленьких чашечках принесен светлый желтый японский чай и круглый деревянный черно-лаковой коробок с печеньем ярко зеленого цвета. Сахара нет—в Японии, ни к чаю, ни к кушаньям, ни даже к пирожным он редко подмешивается.

Пирожные бывают кислые, соленые, очевидно и горькие. Из нижних двух номеров открывается вид на сероватые дождливые волны моря: оно за стеблями бамбука и кровлями поселка, раскинувшегося внизу. Верхний этаж дает возможности видеть не только в сторону моря, но и поверх абрикосовых деревьев, по случаю осени, лишенных листьев, поверх ворот и фонаря, поверх зеленых гробов и лиловых линейек цветов, коими обчерчена аллея, вся в лужицах с оспенными ямками дождя подающего все реже. Верхний этаж, и лестница, и корридор полны шлепанья утренних туфель.

Гостиница проснулась: горничные унесли из номеров футоны 3) и сложили их высокими столбами в помещениях для белья. В кухне горит огонь повар — (кок—Сан) варит и жарит утренний гохан: студенты, приехавшие из Токио отдохнуть на несколько дней, бродят по корридорам гостиницы и изо—рта у них торчат длинные зубные щетки, впрочем оне торчат и у хозяйки и бантосана, 4) как торчат они в этот утренний час повсюду в Японии — Процедура чистки зубов длительна, забыв о ней, но не вынув щетки, японка кормит грудью младенца; студент повторяет главу из учебника, а „бантосан“ с этой же щеткой между губами спешно дописывает счет.

Полного русского более всего интересовала баня — есть ли „Мотомуре“ фуру 5) — есть, но бывает через день!

Офицера интересовали гейши — есть ли в „Мотомуре“ гейши.

Маленькой Бамбуко — сан двадцать шесть лет.

Ея брат зубной врач в Циндао, а другой — юрист в Токио. Русский офицер нравится ей: его подслеповатые на выкате с красными веками глаза и большие усы, которые сидят под носом, подобные двум мышам хвостиками



Мотомура. Д. БУРЛЮК.
Пис. на Ошиме. 1920 г. (масло).
(За избой в центре видна гора Фудзи-Сан.)

врозь; он курнос и, должно быть, ее косолазому, скуластому, желтокожему вкусу более всего по душе.

— Есть, но оне очень грязные, дурно пахнут и, когда оне купались, то у них заметили не хорошую сыпь и нарывы на теле.

Русский с желтым лицом и глазами волка интересуется относительно молочной, как лекарство от тех всегда его интригующих виски и ликеров, которыми уснащен его жизненный путь.

— На Ошиме в „Мотомуре“ ликер и виски можно достать только в доме гейш, а молока много, оно стоит четыре сены в стакан.

IV. ФУДЗИ—САН.

Дождь перестал: выглянуло солнце, воздух потеплел, а направо от высоких стеблей бамбука забелела, видимая через пролив, величественная Фузи—Яма. Облака тянули меж нею и станцией „Кодзу“, толстяк в бархатных брюках знал Это, он любил разсматривать карты.

Отсюда, конечно, станция „Кодзу“ не была видна; отсюда было сероватое, лиловатое море, цепь прозрачных голубоватых гор и над всем этим обыкновенным, прекрасным, но таким что встречается часто — неожиданное действительно редко встречаемое, подобное сахарной голове видимой из за горизонта на половину, так как это бывало в детстве; когда привозилась она из соседняго местечка, когда отец брал толстый железный нож и ударял им ниже белаго лба, видимаго из за воротничка синей сахарной бумаги, бумаги сложенной всегда с острыми вырезами, как это нарисовано на вывесках мелочных лавочек, где обязательно были баранки, рыбы, чайник, но над всем царила, выглядывая из синей плотной бумаги самодовольная сахарная голова с дырочкой, голубевшей на ее темени.

Так было и теперь: сахарную бумагу избражали голубые горы, а гордая, с Ошими, в профиль видимая, (из Токио она рассадиста) высокая взнесенность, гренчанной снегом Фузи, глядящая через пролив на маленький островок; не закрыть от ее холоднаго взгляда безконечных крыл океана!!

V. НЕИСАН 7).

В японских гостиницах номера отделены один от другого только бумажными рамами,

которые Отаке—Сан отодвигает с быстротой и легкостью, причем не предугадать с какой стороны она войдет; приходится удивляться той легкости, с которой она успевает оставить свои „варадзи“ — и вступить на циновки номера босой ногой. Она эта Отаке—сан работает и бегаёт с шести часов утра до двух часов ночи, когда в одном из номеров наверху загуляют студенты (пьют сакэ и приглашенные на гастроль) ошимские гейши танцуют под мерный руковсплеск и деревянный звук „самисена“ 8).

— „Уля, уля, уля; коля, коля, коля“ — слышится русским, конечно гейши, японцы поют про что нибудь необычное и не угадаемое.

Отаке—Сан с шести часов утра разносит по номерам „гохан“, она ждет сидя на циновке перед кадушкой с „комэ“ (рис), откуда накладывает гостям в особую чашечку каждому, плоской деревянной ложкой.

Русские доставляют развлечение всем жителям гостиницы; они так комично не умеют сидеть: когда едят, лежат на животе, а палочки (хаси) больше мешают им, чем помогают. Отаке—Сан показывает колчаковскому офицеру фотографию, которую ей сделал один из приезжавших студентов. На ней, Отаке—Сан, развешивает белье, ветер раздувает подол ее грошового кимоно, обтягивая живот и узенькие бедра; ее скуластое лицо с косыми глазами окаймлено прядями свисших ветроработе жестких — конский хвост, волос. Отаке—Сан всегда с прической растрепанной... Конечно, это простая прическа, волоса подняты валиком вокруг всей головы и на макушке завинчены.

Русских она учит простейшим словам, смеясь над их произношением чужеземцев, а холостая компания часто подсовывает в ее японский лексикон двухсмысленности и непристойности; но надо сказать, что многие японские обороты речи и слова звучат для русскаго уха, как грубейшие циничные ругательства: язык ходит по берегу двух океанов под изначальными возможностями ознакомления, не стыдась и не прикрываясь фиговым листом.

Знания всех нюансов и точностей выражения.

Отаке—Сан не унывает: ей жизнь кажется, очевидно, полной смысла и радости: когда вечером она приносит футоны русским, то она даже заигрывает с офицером и в этой борьбе двух тел на футоне, где сплетаются, с его стороны снисходительная, в меру скабрёзно—шутка — с ее стороны некоторая тень правды. Перед уходом она тщательно укрывает футоном ноги всех троих, чтобы через „биобу“ (ширмы) не дул холодный ветер, и сидит еще несколько минут.

По японскому обычаю в хорошей гостинице, горничная должна сидеть около гостя пока он не заснет, разговаривая с ним, рассказывая ему, и даже читая литературные изустные вещи.

Колчаковский офицер говорит о племяннице хозяйки своей гостиницы, где он живет Токио, что та гостям в своих номерах читает поэмы японских классиков много вечеров подряд — все новые.

В Японии так много жеманного, так много учтивости, еще не с'еденной культурой, учтивости старосветской: эти поклоны носом в пол, эта сцена когда хозяйка ползет на коленях к гостю, сидящему по середине комнаты.

Отаке—Сан учтива. Русские не могут явиться ареной этой манерной воспитанности: русские, бессловесны зверю — подобны и в Отаке—Сан, конечно, они могут видеть, пренебрежительно, только ее животную сторону. Отаке—Сан ведь очень не красива, но сверху иногда заглядывает в „русский зверинец“ Сузука—Сан, у ней три передних зуба—золотые, брови подбиты, лицо густо намазано и подрумянено около глаз: от нея запах материи кимоно, а черные жесткие волосы напомажены. С русскими она любезна, но ее ежеминутно зовут наверх и она соскакивает с колена то офицера, то футуриста с глазами волка.

Японские номера отделены друг от друга „сикири“ — бумажными рамами, на аршин не доходящими до потолка.

VI. ПАРОЧКИ.

В соседнем номере всю ночь горит свет — там парочка — слышен сдержанный смех и шопотный разговор, Они могли бы говорить интимности вслух, потому что русские все равно ничего не поймут; японские номера не имеют ни задвижек, ни запоров, но совсем по Гоголю... (вы помните о тихом и необычайно любопытном соседе за „заставленной комодом дверь“).

Но зачем любопытствовать? художник в бархатных брюках, разминая утром ревматическую ногу, видит внутренность соседняго номера, где молодой человек лет двадцати и дама на возраст около сорока лет, — необычайно изможденная японка, к довершению всех бед, еще вооружения большим чирием около правого виска. Художник в бархатных брюках удивляется количеству подобных нарывов у японских престарелых дам.

— Мигрень выходит, говорит офицер.

— Ну у нашей соседки мигрень выходит через ее сына.. Какой сын — это ее жених, ишь косомордая, хахеря подцепила — говорит футурист.

Эта парочка для русских непонятна, загадочна, причем молодой человек кажется вполне счастливым, сжимая в своих объятьях ее полутора пудовый костяк, вооруженный большим созревшим чирием.

— Хорошо что у японцев целоваться считается неприличным.

— Но я сегодня видел, говорит толстяк японки целовали на улице маленькаго.

— Да, но ведь он ей и годится в сыновья, так что она его может обсасывать.

Вокруг гостиницы много еще бродит и других парочек, приехавших сюда для флирта или для отдыха; но с русской — точки зрения все оне, за малым исключением, нелепы и мало понятны. Как на подбор все дамы уродливы — отсутствие женских прелестей, бюст обтянутый кимоно, узкий таз, худосочие — нет простора для чувственного обольщения.

Как далеко пришлось скакать бы здесь воображению Рубенса, чтобы от этой бедности форм добраться до своего идеала — говорят бархатные панталоны..

— Эх европейки! — говорит футурист — идешь по Иокогаме и среди этого японского плоскозадства, вдруг англичанка, оне ведь тоже сухопарья, а всетаки пальчики оближешь!!

Парочки не понятны русскому вниманию: ни одного штриха, ни одного намека, могущего бросить хотя бы малый луч света, в уго-

лок какой либо истории этих многочисленных и наверно, интересных романов людей, праведов которых еще наш Гончаров застал в таком первобытном состоянии.

В этой стране, которая была закупорена кубышко — образно от всего внешнего, чем жил мир. Эти парочки, которые бродят теплоте осеннего утра вокруг гостиницы, оне продукт городской теперешней Японии, где жизнь так обострилась, где столько грызни, обставленной учтивостью, и где так труден кусок хлеба. Они эти парочки вырвались из кошмара борьбы за существование, может быть, навсегда — их деньги лежат в банке и оне могут наслаждаться беззаботно жизнью — ведь в Японии столько укромных уголков, а „хотеру“ за две — три иены снабжает всем вплоть до (примитивной) японской одежды.

Русским не понятны некрасивые женщины, — в которых женственны — оне прически и жеманность.

И здесь ни одно слово, что было бы возможно в другой стране — не дает случая образить.

Кто оне? Какие чувства и какого напряжения, и каких оттенков могут гнездиться в этих, столь своеобразных для европейца, телах и привычках??

В другой стране, даже вещи могли бы сказать про особенности, класс и жизненные горизонты их владельцев — а здесь „гета“ (деревянные подставки для ног), безразлично делового вида, лишь иногда франтит какая либо цветным лаком; но таковые носит и Отаке — Сан, бегая на них от гостиницы к флигелю; а что скажут коридорные „суриппа“ (туфли), столпившиеся снаружи у бумажных стен каждого номера, — такие с одной ноги на другую переметные; а что скажут костюмы этих парочек, где мужчины одеты также, как женщины, даже еще более по женски, и все эти другие вещи — непонятные книги, легкомысленно читаемые всегда с конца; газеты и вся эта пресса европейцу (по нюху), кажущаяся через чур бульварно любопытной, болтливой и поверхностно не серьезной; этого народа, который весь этическими воззрениями мыслится в средне — вековыи, народа, который с легкостью ребенка, усвоил себе культуру.

Но думает художник в бархатных брюках: — Ведь я же видел в Токио магазины, где продаются луки и стрелы, луки из полированного бамбука, ростом более человеческого.

Ребенку утомительна становится культура и он идет к циновкам, он идет к обнаженному морскому берегу, он бросается к своим стрелам — на отдых вспять.

Все описанные вещи ничего не говорят европейскому воображению, которое по одной детали, по, иногда, еле уловимому штриху успеет дорисовать полную картину, над которой спущена занавеска: фасон дамских туфель, какой либо кусок фразы, еле слышанный, в четвертую понятный, а иногда вульгарная улыбка или аляповатый жест.

Мы ведь так много знаем друг о друге; наши вкусы, наши интересы, обстановка, и воспитание — все это как единая гряда, создавшая растения одной породы: а здесь: и тип красоты, и уровень образования, количество и характер знаний, вследствие отсутствия моста, какой либо жердочки через пропасть,

положенную полным незнанием языка и его иным типом — нам чуждым и не встречающимся!

Эти парочки приезжают на Ошиму и исчезают в своих юбках, на своих табуретках, под бумажными зонтами, когда идет дождь и ветер раздувает широкие рукава, также неожиданно, как и появились.

VII. ЗОЛОТОЙ КОРАБЛЬ.

Художник в бархатных брюках любит прогулки вдоль побережья от „Мотомуры“ к северу. За деревней, вполверсте, на песчаном холме у самого моря строится новый корабль, по теперешнему (конечно не более чем морская барка) он почти готов, весь золотого цвета новых гладко обструганных досок. Его грудь и бока еще не касались соленого моря. Но он родился в воздухе, пропитанном ароматной пылью брызг океана; теперь когда по его палубе стучат последние молотки — он подобен идее, замыслу созревшему и вымеренному, но еще не примененному, еще не приведенному в соприкосновение с теми случайностями, которые, иногда, так грубо опрокидывают, казалось, замыслы непогрешимые безошибочные. Он высится — золотой корабль, дитя моря еще не баюканное им, щепка игрушка в руках волн и судьбы на безкрайном игрище ураганов.

Удачник или несчастливцев? Что начертано, на твоём пути. Тихие пристани или же превратности??

VIII. КЛАДБИЩА.

Нигде другом месте художник не видел столько кладбищ как на Ошима — весь берег, взнесенный на пять, восемь саженей над водой, покрыт глубокими ямами, которые спутавшиеся ветви густых кустарников превратили в тенистые пещеры.

Японцы искусно делают мостовые, подбирая камни, выглаженные прибоем.

Пещер без конца, оне то выше одна другой, то ниже; ступени и мостовая дна этих ям, этих каменных больших ящиков поднимаются тоже то ниже, то выше; в ящиках, в ямах неуловимый запах ненужной, ушедшей жизни; Одна около другой каменные плитки, площадки, на которых стоят такие же кубики, гранитные, из песчаника, обросшие мхом столбики.

Все побережье полно этим кладбищем, которое ушло в норы, запуталось в ветки кустарников, покрылось валунами; часто над тропинкой натянута сетка воздушного рыбака: длинными ногами держится за нее, подобный странному цветку паук, туловище которого покрыто розовыми и ярко — желтыми пятнами.

Когда успело на Ошима пожить столько людей??

Художник не любит кладбищ: этот дряхлый муссор прежней жизни неуместен берегу океана, что тысячекудовыми пальцами играет по клавишам черных, траурных набережных камней Ошима. Ошима не имеет розовых пляжей: Ошима носит черное платье подол которого океан обшивает белым кружевом пен. Берег около „Мотомуры“ не высокий, но часто торчат угрожающе шероховатые, колющие скалы. Камень других берегов уда-

ры волны полируют и делают гладкими, а здесь, чем больше моет и плещет волна тем иглстее, заназистее становится берег. Местами суша в воду спускается черными языками: взрошенная, взлохмаченная черная масса образует каверны, в которых прилив, волнение и дождь оставляют воду.

Кажется, будто бы земля, эта черная масса подражала стихии воды, будто бы она кипела, как кипит теперь вокруг неугомонное море.

VX. ВУЛКАН.

Художник поднялся однажды в горы над „Матомурой; сначала шла дорога, забирая все в гору меж стенами в четьре, пять метров высоты, эта дорога не отличалась от глубоких, постоянного типа крепостных сообщений... но затем, пройдя мимо сосен, откуда виднелась царящая над проливом Фузи, дорога постепенно превратилась в узкую тропинку, которая исчезла, в прихотливом ложе, прорезанном горным дождевым потоком; этот овражек на дне своем имеет другой, куда пешеход проваливается под мышки, когда его ноги соскользнут с краев при неловком шаге.

К самой вершине, через полтора часа, глина оканчивается — пешеход не падает каждую минуту на дно узкого оврага — под ногами мелкий, не намокающий черный порошок, а дальше почти пыль, местами не закрытая кустарником. До захода остается не более полтора часа.

Еще несколько минут ходьбы и сквозь ветки различных деревьев, не встречающихся в России, видна большая котловина.

С того места, где стоит художник, гора круто обрывается вниз; отсюда обрыв виден загибающимся амфитеатром: долина вся наполнена синим полумраком сумерек. Величественная котловина, вроде умывального таза, у которого выломан один край: край обращенный в открытый океан; в южном углу глубокой впадины высится, постепенно поднимаясь, правильный конус с вершиной весьма срезанной. Тучи, стремящиеся со стороны океана, цепляются за неровные края конуса: но из самого отверстия горы вырываются, разрываемые ветром, лохмотья пара, которые смешиваются с бегущими облаками.

Вся не только вершина конуса, но и его склоны и впадина, ея дно, лишены растительности, и отсутствует даже малейший ея признак.

Серая, синеватая пыль местами наполнена грудами ржавых и перегоревших кусков шлака, она покрыта полосами оставленными не то потоками воды, не то легким танцем ветра.

Дно котловины оригинально: начинаясь вдаль, верстах в шести на глаз, от фоны воды, (там наверно есть не видная глазу пропасть обрыва к морю), она постепенно поднимается в западном направлении, пока не достигает того края этой земляной чаши, который остался целым. Пыльная, серая масса дна всплещивается местами на конус, а в том крае юго-западном, где конус примыкает краю цепи гор — ограничивающей котловину с запада и с северо-запада, она поднимается свинцовым настом, почти вровень с наружным краем их.

Художником овладело жуткое чувство говорящее о смерти, веющей из этой страшной котловины, сейчас как бы наполненной сине-



Ворота Японского Храма. Д. БУРЛЮК.
1921. (Июкогама). (масло).

(Слева видна камень со священными надписями).

ватыми ядовитыми испарениями; заходящее солнце, бросая косые лучи временами попадало только на вершину кнуса, она багровела и зловеще металась в его круглом отверстии плоские куски пара, разорванные ветром.

Цепь гор-облежавшая амфитеатром кратер старого вулкана в южном углу которого вырос когда то новый, была изпятнена последними бликами света.

В картине изничтожения, превращения всего в серую, мертвую, свинцовую пыль какая то безмерная, безграничная жестокость и бессмысленность. Во всем пейзаже разлита тупая безысходная тоска последнего отчаяния: отчаяния и одиночества превышающих чувства, доступные живым существам.

Из конуса вырываются грешные мысли, па которые способна стихия земли — демоны с кривыми улыбками, косоглазые преступления, не постижимые человеческому сердцу.

Художник стоял на одном из лучших мест обширного амфитеатра, когда то шумевшего гигантской толпой зрителей. Но теперь „человек“ стоял на месте, откуда была видна пустая сцена, кое—где заваленная обломками бутафории; голубой занавес океана был спущен и служил фоном: на сцене была пустыньность и тишина: действие окончилось и, быть может, не скоро начнется снова, театральные крысы возятся в глубине сцены, крысы, слышавшие роли и видевшие жесты актеров не человеческого прошлого *).

Художник подумал: какие ужасные лики, бессмысленные хаотические фигуры занимали этот театр, любясь игрой, разгулом пьянящего действия первичной игры стихий...

Художник боялся, чтобы ночь не застигла его на одном из мест, где дорога вела с горы, по узким оврагам не оправленным рукой человека.

Солнце спускалось быстро, но художник старался не отстать от его быстроты: солнце спускалось с вершины неба, а художник таковой-Ошимского вулкана; солнце спускалось в море, а художник к морю — но солнце обогнало художника и тьма застала его, только что подошедшим к местам, где путь носил

Примечание:

*) Автор посетил кратер вулкана 1920 г. ноябре, а 1 сент. 1923 г. Ошима была причиной „гибели“ Японии — катастрофы ужасной, повлекшей смерть миллионов людей.

культурный характер. Правда, что во многих местах, художник спускался, вспоминая строки Иловайского о гуннах: „на своих, окованных медью щитах, они скатились по обледенелым склонам Альп в плодородные долины Италии“: не только бархатные брюки помнят эту прогулку, но и сапожник в Осака долго удивлялся плачевному состоянию башмаков художника набивая им новые подметки.

Х. ОФИЦЕР РАССКАЗЧИК.

Жизнь на Ошима текла однообразно, жизнь холостяков, время которых поглощено занятиями добровольно взятыми на себя.

Ошимские жители ежедневно видели бархатные брюки часами стоявшие то у берега моря, улице, не далеко от ряда древних священных сосен, идущих к храму, то пишущие розоватые блики заката, упавшие на крутую лестницу, с которой дряхлый церковный сторож сметал листья, набросанные рукой осени.

Футурист сидел в номере гостиницы и писал гейш, причем моделью их ему служило собственное воображение. Бывший офицер тоже не отставал от других — у него теперь было свое занятие, он непрерывно бегал в местную аптеку, принося оттуда то вату, то бинты, то разные другие необходимые ему специи, в которых он, очевидно был и, давно уже, большим докой.

После дня работы, поужинав, располагались на циночках пола и офицер принимался рассказывать какую либо из многочисленных историй своей жизни; офицеру не более тридцати лет: он был малороссом, акцент выдавал его мало: но об этом говорили его рассказы, события которых разворачивались, главным образом, на фоне Украины; Другие же были овеяны пудрой Сибирской тайги, где под мазками безхитростных, но правдивых фраз, не только очевидно — наблюдателя, но и сознательного участника вдруг вставала озаренная трепетным светом зимней луны узкая долина в окрестностях города К.; долина с обрывистыми неприступными берегами, наполненная снежною пылью, свирепым дыханием мороза и длиной вереницей саней и всадников, двигающихся по замерзшему течению большой реки. В стране неведомой и дикой, когда за спиной по пятам неумолимая беспощадная кара, впереди — неведомо где затерянный в снегах в не верном блеске луны городок, где можно отогреться, а по бокам этого Шествия — сцены из Дантова Ада: лошади издохшие, или же провалившиеся под лед, попавшие на теплый источник; а вокруг саней, где сидят, уже полузамерзшие офицерские жены и дети бегают и копошатся, без смысла и надежды какие то фигуры. Но эти рассказы не были матерьялом который был вполне пережит и полузабыт участником, так поделом трагически закончившегося белогвардейского выступления.

Офицер не был примером талантливого рассказчика, какие иногда встречаются в жизни; эти рассказчики — художники. Слог у них, манера давать фразу, обилие словечек метких оборотов так и просятся под перо. Просто жалеть приходится, что такой талант пропадает даром, часто даже не будучи оценен не разборчивой и не внимательной аудиторией.

Офицер был, даже мелким, гурманом жизни. Вследствие характера той беспокойной эпохи, в

которой пришлось ему жить он просто слопал несколько кусков жизни, по дороге попавшихся ему. Он был ленивым и беспечным человеком каковым сделали его, главным образом, те условия военной жизни, в которых он находился последние годы, а гражданская война, мутной воде которой он плавал, забираясь иногда очень глубоко, наложила на его психику известный тон фехтующей испорченности, присущей или артистам высшей марки, кои на сцене художества, так сказать по долгу службы, часто переживают крутые склоны преступного или же активистам первой величины из романтических трущоб греховного.

Офицер был сластолюбцем, он был типом маленького Лукулла пиршеств Сладострастия. Ведь каждый бывает любой хижине, маленьким Лукуллом — достаточно сковородки с ломтиками поджаренной ветчины, пары рюмок наливки, ярко пылающего каминна, чтобы за стеной бесильно бушевал ветер и, слегка озарив картину фантазией простора, все превращается в роскошнейшее пиршество.

Офицер был сластолюбцем, способным возстановить памяти давнишние картины пережитого.

Два его рассказа были лучше других. В них была наибольшая свежесть переживания того времени, когда душа рассказчика не была истрепана однообразной зыбью жизненных треволнений. А может быть это были искренние отзвуки воспоминаний, развернутых им страниц жизни, где были начертаны восторги и муки первого чувства.

XI. ЛУННАЯ ПУТАНИЦА.

— Представьте себе две или три арбы наполненные сеном медленно движущимися среди степи, полной благоухания трав и цветов, каковым дышит степи Украины в конце мая. В арбах разместилось пестрое общество. Могу сказать только одно, что стариков и старух, кажется, не было. Самым пожилым был кучер нашей арбы Сидор, которому было лет под шестьдесят, а так как он в темноте видел не важно, то в помощь ему сидел кто то из молодежи и правил на затруднительных местах.

Общество состояло, частью, из учительниц, частью студентов и курсисток: здесь были несколько дочерей священников, несколько молоденьких дам, из которых одна заслуживает особого внимания, чтобы о ней не рассказать отдельно.

Звали ее не то Анна Степановна, не то Семеновна, хорошенько сейчас не помню. Была она кругленькая с полненькими формами, волосы имела золотистые, глаза голубые, ну одним словом, все как требуется. Была она женой аптекаря того местечка из которого ехала вся наша компания. В нашей же арбе находился и муж Анны Семеновы. Чудак он был исключительный: зиму и лето ходил в одном и том же костюме из толстого верблюжьего сукна. Он немного хромал на правую ногу, так как ему недавно перед этим при постройке дома толстым бревном, скатившимся со штабеля, раздавило два пальца. Муж Анны Степановны, после кучера, был самым пожилым человеком — ему было более сорока лет.

В нашей же арбе находилась одна барышня худощавенькая стриженная под паренька, с черным взглядом и характером скажу я вам, прямо таки почти назойливым. У меня с ней

были странные отношения: как то еще зимой на какой то вечеринке, отчасти в шутку, я приударил за ней. Она не была в моем духе, но в молодые годы, когда любовной энергии через край, делается это иногда из упрямства — „вот посмотрю что из этого выйдет“, или из любопытства там чтоли. Но вы знаете этих женщин маленького роста и худощавеньких — самолюбия у них, больше, чем других каких женских прелестей.

Так и эта — она такой гонор развела — „да что вы с ума сошли — за кого вы меня принимаете“, ну и другое что там полагается. Не хочешь не надо, найдется и других.

По прошествии некоторого времени получается от нея письмо на этом письме ни фамилии, ни даже, имени не было, но я сразу узнал, что это от нея, а так как в это время был занят какой то сердечной историей, то оставил письмо без ответа, на свидание не пошел или, что называется, „презрел“.

Она очевидно, явно обиделась.

Теперь в арбе, где все лежали друг возле друга на мягком сене, она сказала, так как случилась рядом со мной, тихо и ласковым тоном:

— Сережа не сердитесь на меня будем друзьями, ночь так хороша...

Разговоры вещь хорошая... Но куда в темноте девать руки... А „чертенюк“ стал опять урсить, то да се, „как вам не стыдно“ и еще как вам не скучно, фи это так обыкновенно — как будто ей самой все на свете давнешенько приелось и все она испробовала, а сама то, может быть только с гимназистами в саду, случайно, целовалась.

Мне такая тактика никогда не нравилась: а ночь как та, в которую все рассказываемое происходило, не часто встретится другой раз. Да и потом знаете эти пикники, когда отправляется большая компания, надо не зевать — с начала вечера подготовить где либо почву, а то весь „материал“ разберут и останешься с какой либо драной кошкой кисель на луне разводите — или же бродить меж кустами и на других облизываться, что того хуже.

Компания направлялась в Белую Церковь. Помните у Лермонтова 9) эти стихи:

—Луна с прозрачной высоты
Над Белой Церковью сияет
И пышных гетманов сады
И старый замок озаряет...

Выехали мы с таким расчетом, чтобы на место прибыть часам к одиннадцати ночи, когда царица ея будет в полном блеске и все будет так, как описано в стихах.

Луна уже взошла, степь была полна зеленоватого блеска; перепела кричала в полях ржи, а в долинах, покрытых вырубленным дубняком, стоял легкий пар и тонкий запах спелой земляники. Ехать оставалось около часу.

Дела мои были плохи: с „чертенюком“ каши не сваришь, а около Анны Степановны сидел ея аптекарь и ни с фронта, ни с фланга подступа к ней не было. Аптекарь был здоровый, с рыжей бородой, дядя и в кармане часто держал ручного ужа, который, вылезая у него вдруг из под ворота рубашки, пугал разговаривших с ним.

Надо заметить вам, что судьба Анны Степановны впоследствии была очень трагическая, она после какой то не то ссоры, не то скандала с своим благоверным, с криком побежала в переднюю, обеими руками, сильно порезав

их, выбила окно и схватив стаканчик с серной кислотой, стоявший между рамами, успела выпить его до половины, ну конечно и умерла, аптекарь ликвидировался и совсем с наших мест не известно куда исчез.

Как видите, Анна Степановна была вроде „Мадам Бовари“, но это все потом стало известно, тогда же под'езжая к цели нашей прогулки, никто и не подозревал, какие пироги придется ему кушать и в каких красных углах сидеть.

Думал ли я, что попаду в Японию: буду без копыа вторую тысячу должать в гостинице и здесь с вами на Ошине валандаться.

Но перехожу снова к событиям ночи, о которых наверняка смогу рассказывать и через много лет. Собственно в этой ночи не было ничего особенного.

Большая компания приехала на пикник в обширные тенистые парки, пронизанные лунным светом. На большой поляне стояли выпряженные лошади и жевали сено. Тут же белело каменное здание — старинная сторожка, в которую две бабы таскали траву, устилая ею пол двух смежных комнат и покрывая ее простынями, на которые лунный свет клал синеватые квадраты сквозь стекла узких окон, разноцветные от старости.

Лунный свет обливал белые стены этого здания, в котором пахло мятой, где в углах висели большие образа с темными ликами, перед ними теплились лампадки. От луны на поляне старинного парка „пышных гетманов“ было светло как днем, только днем фосфорическим, призрачным, наполненным тем светом, который известен людям плававшим по заливам южных морей, где глубина не превышает четырех шести метров — там господствует зелень, призрачность — предметы отчетливо видны, но они полны особой фантастической не земной прелести. Наиболее хозяйливые из общества устраивали чай и походный ужин на поляне недалеко от старинной сторожки.

— Ну, знаете, что бывает в таких случаях: сторож натащил молока и сладкого, и кислого, какие то пироги с картошкой; на большой черной сковородке жарили яичницу с салом и хлебом; с собой привезли: кто холодных котлет, кто жареных дыплят, ну а народ по серьезнее: По части сминовочки коньячку и прочих деликатесов. Через десяток другой минут голоса стали оживленнее, в обществе появилось больше спайки и тут обьяривались различные наклонности: некоторые направились осматривать развалины замка: другие удить рыбу, третьи остались дспивать остатки, а большая часть общества потянулась к обрыву.

Аптекарь поднялся, прихрамывая и сказал:

— Вы господа завтра будете спать до восьми часов утра а я не изменю своей привычке — чуть свет так и на ноги... по Владимиру помните „солнце никогда не заставало его в постели...“

— Ну если бы, вы спали завтра и до восьми часов утра, то солнце вас в постели все равно не застало бы, спать придется походным порядком... сказал бойкий голос. Обрыв, действительно был выдающимся местом: старые липы шли широкой аллеей — трава на ней, очевидно, была недавно выполота; аллея была кое где посыпана песком. Кое где сохранились прислоненные к ветхим стволам старинных дерев широкие скамейки, вросшие в

землю: аллея оканчивалась опушкой парка; эта опушка постепенно понижаясь к рядам кустов, покрытых белыми и розовыми цветами затем стремительно глинистыми осыпями уходила вниз, где в камышах и песчаных отмелях лунала, всплескивая река.

За рекой, как это водится в России, тянулись луга, синели рощи и, должно быть очень издали доносился мерный звук колокола; считавшие пояснили: „двенадцать часов“.

— А что не будет час назад.. в нашем селе сторож иногда бьет, бьет — набьет часов тринадцать спросонья — не удобно — утром смеяться будут, вот он подождет минуты две, ударит раз и скажет в безмолвии ночной ограды церкви, удаленной от села, чуть не на версту:

„Час назад... как будто это восклицание в самом деле могут слышать все, кто, выйдя по хозяйству из хаты, или ночуя на кожихах среди двора, на возу, или же с „Одарочкой“ у вишневом саду услышал с удивлением и, даже, с некоторыми суеверным страхом тринадцать часов.“

— Говорят: вылетит не поймашь“, звонарь считает иначе — в его воле послать в море ночи свои, ограниченные счетом удары, но и его власти вернуть в гулкое медное горло деревенского колокола.

Философией впрочем занимались мало: общество разбилось на парочки: лишь наиболее скромные сидели на скамейках под липами, не столько слушая соловьев, как томное воркование и уговоры. Я лишь на минуту показался здесь, с „Чертенюком“ я поссорился окончательно — всех барышень и дамочек расхватили, я был одинок и, должно быть, по этому хватил более обыкновенного. Правда я сам не замечал за собой ничего странного, только маленький косогор в конце аллеи вдруг показался моим ногам столь крутым, что я, против воли, внезапно сел, нисколько не беспокоясь о своих белых майских брюках, впрочем сидел я не долго — в эту ночь, не смотря на хмель, во мне была масса энергии: я чувствовал прилив особых восторженных всплесков душевных в этой ночи было не только что то чарующее, нет больше — почти сверх'естественное...

Лунный свет опутал тысячами паутинок не только очи, но даже сердце мое, казалось билось медленнее и глуше может, лунные нити, попав туда оплели его...

Вы представляете себе изумрудные, почти лазурные холмы на которых протянули свои ветви старинные дубы, видевшие Петра, эти зглаженные временем и рукой человека склоны, где прозрачные лунные тени не в силах укрыть белоствольную березу и все это полно моими двадцатью годами, таинственностью ночи и серебром тумана, который прозрачной тканью дежал на дне ложбин.

Эта ночь была фантастической. Тогда бив навеселе, мне ничего не показалось бы странным, или чудесным, потому что я был готов и ко всему и на все, а вспоминая теперь я вижу, что тогда мне многое могло бы быть ясным и понятным будь я повнимательней и смотри сквозь, опутавшие мои глаза, лунные нити более пристальным взором. Я сам не заметил как очутился у каких то развалин, где прелый, местами покрытый пятнами мха и плюща, кирпич образовывал арку над входом, с которого дверь была давно сорвана и валялась не вдалеке; вход имел ступеньки, ко-

торые круто опускались вниз. Меня потянуло по ним.

Я находился в узком подземельи; мной владело особое настроение как бы безстрашие лунной веры. И что же!.. Действительно, в душу мою вошел туманный и не ясный облик: он был и во мне, и предо мной. Если бы меня спросить — этот образ жил в подземельи или внутри меня... то я не сумел бы отграничить где оканчивалось подземелье местами гроткнутое, пораженное в спину, мечами лунного света, и где начиналась моя душа, опутанная паутиностью этой ночи. Образ простирали ко мне свои длани, он манил неизяснимой сладостью голубых широко раскрытых глаз своих; падавшие на виски кольца его волос, золотившихся на изгибах не заметно переходили в тонкие лунные нити.

Весь этот образ так непосредственно был слит с луной, настолько возникал органически совместно с ее капризным, всюду пробирающимся светом, что уйти от него, или не видеть его не было ни сил, ни власти. Но и напрасно, обуреваемый мощным, неутушенным жизненным чувством, я бросался к этому соблазнительному и сладострастно вызывающему образу — он манил, он помавал серебряными тканями, обнажая то знойную грудь, то гаремно сладострастные бедра свои.

Я бросался, как бросается в воду желающий обнять свое изображение в ней: он, распекаемый моим вторжением, оказывался позади меня, умоляющий, манящий и не менее желанный или же, отстраняясь на несколько мгновений, становился менее четким, чтобы возникнуть с новой силой, полонив и не отводя овладев мной.

Если покажется не смешным выражение, „небесный образ“, то черты неземного, сверхестественного, черты исключительной небесной нежности были в нем слиты чертами как будто знакомыми, земными, где то виденными ранее. Голова моя горела, преследование утомило меня. Лунная женщина, между тем все же настойчиво была передо мной и теперь, так как луна начала склоняться, тени сделались длиннее, туман поднялся выше, сообщая всем предметам неземную призрачность.

Власть видения над моей душой не стала слабее, очарование не опало, мне казалось, что достаточно двух трех шагов и она будет в моих объятьях. Теперь она стояла совсем близко от меня, на холме, откуда дубы протянули свои кряжистые ветви. Заслонив глаза рукой от лунного света, я стал всматриваться в эти знакомые черты, в которых было столько земного и странно, что элемент земного, даже чего то близкого с каждым мгновением выступал в этом зыбком облике все настоятельнее, все яснее.

Я почти узнавал ее: в мольбе я протянул к ней руки, сладострастие жгло меня, я пылал неутоленным желанием.

Упав на колени: я пополз к полувочеловечившемуся призраку, но он отступил несколько шагов и спускался по откосу холма. Вскочив, я бросился за ним но странно — раньше призрака двигался не касаясь земли, теперь же это были шаги женщины готовой упасть и, действительно, достигнув гряды кустов, покрытых белыми и бледно розовыми цветами, она в изнеможении опустилась на траву. Грудь ее колебалась, рука сжимала платок глаза были полны слез, где мука и счастье переплелись... прекрасные голубые очи, где

небо зажгло по одной из звезд, уронив туда свои.

Я был около, сжимал ее руками, жадными, как ветер, когда он гнет кусты ивы, горячими и трепещущими, как зной, когда он опалает нивы. Она не сопротивлялась. Было похоже на то, что действительно она была истомлена длительной погоней моей, а между тем, я ясно теперь видел, при свете упдающей луны, подающем сквозь ветви лип, что это была Анна Степановна. Счастье мое длилось, она была в полубоморочном состоянии, но ее губы и руки ежеминутно искали моих. Как долго шедший пустыней, упав к холодным, еле лепечущим струям, не слышит и не видит, я так же ничего не видел, кроме этих поглубевших глаз, где лунное сияние смешивалось с бликами рассвета: мое ухо было чуждо звукам иным кроме прерывистого дыхания, нежных, еле слышных стонов утоляемой страсти...

Вдруг я очнулся, я оторвался приподнялся, я смотрел во все стороны, но ничего не видел... Ни малейший шорох не шевелил листов, ни один лепесток с белых и розовых цветов, сгибавшихся к нам, не упал, а между тем теперь я отчетливо слышал сухой ядовитый хохот. В звуках этого голоса было столько ненависти, злой насмешки, подлого, непримиримого издевательства, что я был уязвлен в самое сердце. Яд этой насмешки прошел внутрь и уничтожил, вырвал с корнем из душевой гряды моей, все очарования и обольщения прошедшей ночи. Вокруг ни кого не было, а между тем хохот еще раз отчетливо раздался совсем вблизи, будто кто то смеялся наклонившись к нам, совсем над нами с высоких ходуль, а потом не зримый, не угаданный шагнул через кусты. Не знаю слышала ли Анна Степановна этот голос, но она поднялась: —

— Однако уже совсем светло, я пойду... и она пошла, набросив на свои плечи большой клетчатый плед.

Я следовал за ней, но не потому, что чтонибудь привязывало теперь меня к этой женщине. Правда, бледный свет начинающегося утра не обезобразил ее миловидного лица, ее, глаза слегка увядшие, были полны той туманностью, которая напоминает поле пред снегом, готовым упасть.

В сторожке все спали мирным сном: я заглянул в комнату, где были постели дам и целую руку Анны Степановны я отчетливо рассматривал, что два места между спавшими были пусты.

Возвращаясь мимо арб на одной из которых слышался храп аптекаря, я вступил липовую аллею, шедшую к обрыву. Там я остановился у последней скамейки и смотрел на склон, замыкавшийся кустами, где белели и атели цветы. Было светло, но свет походил на то, как будто он струился сквозь воду: в нем была особая матовая бледность — все казалось припудренным как бы пылью истертого стекла.

Это — лунные зеркала ночи упали и разбились, это пята рассвета, наступив на их осколки, превратила их в матовую, зеленоватую мертвенную пыль праха лунных нитей и бликов.

Луна ушла, лунный свет окончательно спад на всюду осталась их плесень и позабытые паутины.

Почти безчувственно смотрел я на кусты на краю склона, на серую даль, так много

обещавшую ночью и теперь по энергии, полную покоя; даль, лицо которой было помято предутренними снами.

XII. ЧЕРТЕНОК.

И вдруг над мной снова раздался хохот, отрезвивший меня уже раз от восторгов любви этой ночи; я поднял глаза. Став на скамейку, обняв закинутыми назад руками ствол липы, запрокинув голову так, что мне была видна вся шея — „Чертенюк“ смотрел на меня с вызывающим и вместе с тем уже подвластным мне, уже обещающим видом.

— Ха ха-ха наслаждались... лаской нежной ха-ха-ха... А я что же... или я хуже. Или вы находите ее более чувственной, или ее грудь выше, ее грудь пышнее моей, или вам не нравится моя более гибкая стройная девическая галия???

Обернувшись к ней, в самом деле я видел ее в новом освещении, может потому что она стояла на скамейке, но в ее теле, действительно была исключительная стройность; оно было заключено в черное шелковое платье на блестящем фоне его большие виноградные листья оплетали и вились, послушно облекая его молодые выпуклые члены. У ней действительно была высокая грудь, теперь даже сквозь шелк и изображенные на нем листья винограда, ее выпуклости выступали резко и вызывающе. Вокруг шеи тонкое кружево воротничка местами затемнялось спутавшимися прядями темных волос, которыми продолговатое лицо ее с круглым лбом было окружено, как косматой черкесской папачой.

В ней многое было напомиающим горца, джигита, когда он, привстав на стременах, ловит брошенный кинжал. Да, но она затеяла опасную игру. В наших отношениях все было ясно: она играла мной и дразнила больше, чем это казалось, что она не только ждет меня, но уже полна жаждой обладания.

Я сделал шаг по направлению скамейке...

— Не смейте, не смейте... остановитесь...

Я протягивал руки...

— Остановитесь или вы дорого заплатите за это... Но меня нельзя было остановить, так просто или, еще менее, напугать.

Вдруг ее руке что то мелькнуло. Теперь она стояла, опершись о липу и обнимая ее ствол только левой рукой. Правая вооруженная была вытянута по направлению ко мне.

Она шутила, но это была глупая шутка, которая давала мне права на все и развязывала руки. Теперь для меня ее любовь была добычей, и мщением вместе с тем. Но в след за едва заметным движением моим раздался сухой выстрел.

— Вот вам... бросила она ядовито.

Я хотел сделать шаг, но покачнулся и уже полудежал на песке аллеи, а она, соскочив скамейки, медленным спокойным шагом скрывалась в конце дорожки ведущей к сторожке; вблизи меня на земле валялся „Смит и Вессон“ из дула которого шел еле заметный дым.

Когда теперь я вспоминаю этот рассвет, то он проникнут был той же призрачностью, пережитой ночи.

И в призрачности сей были черты сверхестественного: может быть моя душа в эту пору была настроена чувствовать особенно остро и внятно, но потом, издалека времени, все пережитое стало мне более ясным и понятным. По трем ступеням этой ночью я со-

шел; по трем, схожим меж собой, но и весьма различным, характерам настроений сошел с тех воздушных лунных склонов, где я был опутан золотыми паутинками, к земным садам ночи, где над мной склонялись алые и белые цветы, чтобы опуститься третьему лику—валиться, истекая кровью, на песке рассветной аллеи.

Начинающееся утро таило в себе злое, почти демоническое начало: ...

Волосы мои в холодном поту прилипли ко лбу: на зубах скрипел песок, я лежал на земле колени мои дрожали. Теперь я подробно рассказываю о событиях этих, но это не значит, что оне тогда ясно и, во времени, отчетливо проходили пред моим — потрясенным сознанием. До выстрела—да—было ясно, понятно. Все рассматривалось с нервно повышенным, но привычной человеческому глазу точки зрения. Упав же, я все воспринимал превратно... События были не подо мной, не в ровень мне, нет они проносились, как туманные птицы осени, как полеты нетопырей в сумраке, только над моей головой, только поверх меня: в них не было строгой явственной планомерной последовательности.

Когда я теперь стараюсь восстановить события по их последовательности, то отчетливо вижу, что после выстрела в их четкости для моего сознания была большая пестрота: то они были ясны, как будто под увеличительным стеклом, то вдруг затуманивались, становились не отчетливыми, ускоренными, сбивчивыми.

Это были не нормальные впечатления, отраженные сознанием, а движение картин кинематографе — все дрожало, временами было то ярче, то вдруг затенялось исчезало; иногда были перерывы.

После одного из таких перерывов — я не мог бы сказать сколько прошло времени — открыл глаза и увидел над собой наклоненное лицо аптекаря, оно было освещено розовым светом восходящего солнца.

Аптекарь пробовал приподнять меня, но когда я оперся на свою правую ногу, то застонав от мучительной боли, вновь повалился на песок.

Так окончился наш пикник на фоне лунной ночи.

— Ну а что же спрашивали вас, кем вы ранены... обратился к рассказчику художник футурист.

— Револьвер валялся около меня — думали, что я сам себя ранил: правда некоторые барышни знали, что это револьвер был у „Чертенка“, оне видели его у нея, но все были уверены, что она передала его мне; ни от кого, кроме того не укрылось мое мрачное настроение под господством которого я был с вечера.

— Рана была опасная...

— перевязка была сделана через чур поздно, мне потом порядком пришлось по возиться с этой раной.

— Ну, а отношения к вам стрелявшей барышни.

— О здесь было несколько любопытных моментов. Мне с своей ногой пришлось ездить в Харьков. Рана долго не заживала я мучился, мучился у себя на хуторе, наконец на телеге, запряженной парой, отправился на станцию Коломак. Было начало июля, стояла жара, пыльно, лошади еле двигались, облепленные мухами и слепнями. Нога моя ныла,

нервы были издерганы до крайности, вследствие плохого сна. Лицо мое было желто, глаза ввалились, я чувствовал себя совсем больным. На станцию Коломак мы притащились за два часа до прихода поезда. Перед станцией, отделенная от нея большим „шляхом“ расположена корчма. Мой кучер подвез меня к ней и, поддерживая под руки, не свел, а почти снес меня внутрь просторной хаты: в четыре маленькие окна падал свет, полузакрытый листьями сиреневых кустов, в углу у образов висели полотенцы с вышитыми петухами, по белым стенам синими и красными чернилами были наляпаны горшки с торчащими из них примитивными деревьями; пол был глиняный, нога ступала по нем мягко и неслышно. Я лег на скамью, положив под голову чемоданчик. Лежа глазами к печке, я вдруг увидел на скамейке около нея „Чертенка“. Она сидела, полузакрыв лицо руками и, очевидно не смея, подняв глаз в мою сторону. Я окликнул ее — вздрогнув она устремилась ко мне и припала головой к моей свесившейся со скамейки руке. Куда девалась ее гордость!..

— Я гадкая, вы никогда не можете простить меня, Вавочка, ведь так? верно?.. Такие поступки не прощаются...

Не знаю потому ли, что я был слаб и нервно надломлен, потому ли, что я видел перемену, происшедшую в ней потому ли, что в ее глазах светилась боязнь за меня, чудилось настоящее искреннее чувство ко мне, но против нея у меня не было ни тени раздражения. Мы примирились.

— Что же ваш роман на этом и кончился, вы так и не владели ею.

— нет потом, когда я вылечился от раны, у нас был роман, но это было только несколько встреч, мы разошлись — несходство характеров — и она все же не в моем духе, а отдалась мне она, очевидно, чтобы хотя отчасти загладить свою вину пред мной.

XIII. РЕВМАТИЗМ.

Художник футурист работал не выходя из своей комнаты. Художник в бархатных брюках делал этюды на воздухе, особенно старательно он работал над одним, изображавшим улицу „Мотомуры“ Художник в бархатных брюках страдал ревматизмом: ноющая боль в левой ноге была мало заметна днем; утомленный он засыпал в десять часов вечера, но иногда уже в двенадцать проснувшись спал еще около получаса, стоя на четвереньках на своем футоне; затем же он поспешно накидывал на себя кимоно, надевал туфли и около полутора часа ходил не устанно по узкому корридолу, идущему вокруг номеров нижнего этажа.

Ценой этой прогулки покупалось забытье на час, в половине четвертого опять надо было бежать в ночную тишину узкого корридора, образованного с одной стороны бумажными стенами номеров, за которыми раздавалось мерное дыхание спящих, а с другой стеклянными окнами выдвинутыми на ночь и деревянными, тоже поставленными за ними только для ночи, щитами.

В корридорах царствовал полумрак, лампочка горела у лестницы на верхний этаж; чем дальше от нея, тем в узком корридоре было темнее и загиб его узнавался стеклами, которые отражали перспективу корридора в

миниатюре, давая своеобразный мир покоя ночи и загадочности.

Ночи эти были мучительными, хотя в них медленная пытка тела была соединена с переживанием душевных настроений. Медленно двигаясь по корридолу, вытянув руки, чтобы не наткнуться на поворот художник иногда засыпал на мгновение. Эта болезнь заставляла художника любить баню, через день он ходил в общественную баню где мужчины и женщины раздевались в одной и той же комнате, переделенной перегородкой в рост человека: эта перегородка отсутствовала в большей части того края помещения, где раздевались купальщики и купальщицы. Эта же болезнь заставляла художника совершить прогулку к „Юбе“ — паровому источнику из горы, расположенному от „Матомуры“ в двух с половиной часах ходьбы. В глухом месте, под горой, высоко над морем, открытом северным ветрам и вне солнечных лучей, стояли две японских постройки — в одной было три комнаты, в другой кухня и около четырех номеров. Хозяин гостиницы, как все японцы, худощавый человек назначает цену по три иены с человека. За эту плату утром он дает вареный рис, совершенно протухшую рыбу, политую таким же маслом, зеленую траву сильно пахнущую дымом, хотя эта трава не варилась и не жарилась.

С вечера и по утрам здесь очень холодно. В комнату вносится ящик: угли лежащие в нем, сильно чадят, спасает только то, что все стены сквозные, оне состоят из решеточек, обклеенных белой, местами пожелтевшей бумагой, а она с своей стороны часто прорвана и пропускает холодный наружный воздух. Во время обеда опять вносится кашушка риса, сваренного на воде; на маленьких тарелочках лежит рыбка, отравляющая воздух своим присутствием, и маленькая чашечка с сырой травой пахнущей дымом.

Европейцу, а особенно русскому, привыкшему к хлебу, к чаю с сахаром, к мясу, или большому количеству овощей такой стол может показаться каторгой, лишением — высшей скудностью.

Сама „Юба“ соединяется с сараем — гостиницей галлерейкой в десять, приблизительно, шагов. Художник страдающий ревматизмом отправился туда: это была задвигаемая дверцей пещера в горе высотой в сажень и четыре аршина на четыре размером по полу. Впрочем — пол был решетчатый из деревянных брусков из под которых подымался пар: пару подымается мало, но все и стены, и потолок покрыты капельками. Человек, войдя сюда, первое время не чувствует жары, но пробыв минут пять видишь, что здесь душно, все тело покрыто каплями пота; внесенное полотенце — намокает. Пар подымается из под решеток не во всех местах, по средине пещерки под решеткой есть круглое в пол аршина отверстие, опривленное глинянной трубой, из которого идет теплый воздух — подымается он и струится совсем так, как идет теплый воздух из отдушника жарко натопленной печи зимой, но здесь этот воздух влажный.

В „Юбе“, что по японски, кажется, означает серный источник, лежат и потеют два клиента, один японец, молодой парень с язвой ушибом выше колена, другой постарше пришедший сюда за компанью. „Юба“ славится среди населения тем, что ее пар способствует залечиванию ран, а также ревматизм при ее



Рикша (человек-лошадь).
рис. 1922 г. (туш) Кобе.

Д. БУРЛЮК.

посредстве проходит быстро. Лица желающие лечиться в ней, сидят в этом пару (сравнении с баней очень слабом) все время. Отдыхать выходят на свежий воздух, но это делать могут только японцы, которые в своих банях привычны к совмещению противоположенных температур.

Художника мучил ревматизм, в шесть часов вечера он побыл в пару „Юбы“, а затем проспав до десяти, в этом часу когда кругом все спало, отправился в пещерку. Из трубы шел воздух более горячий чем днем, минут через двадцать было уже очень душно, японец с язвой на ноге, тоже очевидно желая попариться ночью, пришел в „Юбу“. Услышав присутствие художника на решетке, он заботливо внес лампу, а также принес стакан холодной воды, потому что художника мучила жажда. Каким сладостным был этот бокал с простым естественным напитком!! Какой неожиданной была ночь над душным дыханием, выходящим из земли.

Эта была крохотная пора страшного вулкана Ошима, гневного демона разрушения — мирно спавшего.

XIV. 12 МЕСЯЦЕВ ЛЮБВИ.

„Юба“ не годилась для русских гостей: после пара приходилось идти босиком по холодному полу, почти голым, из душного помещения попадать на более чем свежий ночной воздух. Вспоминалась с удовольствием гостиница Мотомуры, с ее удобствами сытным столом и более теплыми вечерами и рассветами, чем холодное, высоконагорное местоположение „Юбы“. От нея через верхушки молодых елей видна обольстительная Фузияма.

Художник сделал этюд с нея на закате. Перед уходом из гостиницы, в другой ей

части, отодвинув бумажные ширмы, им стали видны пожилая японка и молодой японец.

Это парочка из Матомуры. Она оставила в номере тамошней гостиницы свои вещи, а сюда прибыла пешком на легкой. Даме „Юба“ должна помочь, излечить ее нарывы на висках. Но как по особому надо видеть и чувствовать природу и жизнь, чтобы в бедной лесной гостинице, с прорванными стенами, с сырыми потертыми циновками пола, на скудном, и даже более, столе, прожить здесь несколько дней этой парочке, довольно обеспеченных людей, если при экономности этого народа, они могут путешествовать ради своего удовольствия.

Шагая с горы в Матомуру, художник в бархатных брюках вспоминал виденные им как то ранее, цветные гравюры под заглавием: „двенадцать месяцев любви“. Некоторые месяцы были представлены бурно эротическими сценами, но как раз ноябрь был изображен гравюрой, где японец и японка в темно лиловых кимоно, на фоне веток, где держится всего лишь несколько желтых листьев, сидят прижавшись друг к другу в позах усталости, тоски и изнеможения.

Шагая в Матомуру, художник думал об этой парочке в пустынной лесной гостинице в лиловые вечера осени. Художник думал об этом своеобразном счастье пожилой японки и молодого ее друга: об этой своеобразной психологии, столь не понятной европейскому воображению. Японец — большой любитель природы: он любит убежать из города под ея, недавно им покинутое крыло.

Шагая осенними сумерками по дороге, ведущей все к низу, художник думал о том, что на Ошима нет весело бегущих ручьев родниковой воды, что Ошима вся, как черный обгоревший камень, выткнувшийся из Океана, что этот пар виденный им в „Юбе“ не единственное, он вспомнил, как во время прогулки ясным полднем, он смотрел на долину кратера потухшего вулкана, на краю которого высились новая гора с острокопечной вершиной и из этой зловещей горы, такой безжизненной, подымались длинные ленты прозрачного пара. Выйдя из горы, оне подымались на сотню саженей кверху, а за тем завязавшись переплетаясь меж собой небесным, воздушным, изысканным вензелем, они были подобны ядовитым ажурным длиннейшим стеблям трав, вышедшим из пучины земли, выросшим внутри ея без света и потому безцветным и лишенным окраски анемичным. Они были подобны белым, прозрачным змеям лениво изгибавшимся и сплетшимся в комок, в просторах воздушной стихии.

XV. РЫБАКИ.

Опять по прибытии в Матомуру, потянулись дни работы; прогулки по берегу моря, когда вечер кладет свои последние сказочные краски на снегошатовую Фузияму, видимую через пролив. Интересным зрелищем во время этих прогулок — видеть возвращение рыбацких лодок, которых так много в Матомуре: большие деревянные баркасы лениво лежат вдалеке от шумных валов, вытянутые на берег железным канатом, накручиваемым на ворот.

Когда Океан подымает высокие волны и с шумом обрушивает их на черный угольный берег Ошима где все: следы адской работы вулкана, где все—или пепел, или перегорев-

ший шлак, или же выступающие в море потоки когда то вылитой вулканом лавы; по ней видно как ползла она напираемая все новой как вливалась в море и здесь еще более пузырилась, ерошилась от пара, полустывшая ломалась, ползла, напоминая ледоход: затор шереха и обломков, ставших на ребро.

К такому черному берегу стремится лодка, она выбирает место, где берег ударами волн превращен в мягкую черного бархата подушку: волны здесь не образуют фонтанов, пены и брызг, они не гудят, как отдаленный пушечный выстрел — здесь обрыв отошел далеко от воды, образуя плоскую покатошь: но эта покатошь, приподнявшись за несколько десятков саженей от суши бросается волна, пенясь и зеленая раскрытым зевом своим, волна вдруг ломается и растилается, вбегая на подымающуюся отмель белыми языками или, учше сказать, плоскими округлыми листами, обгоняющими один другого. С такой волной подходит лодка, в ней шесть семь человек, загорелых, почти обнаженных, один управляет рулем, один стоя на носу держит канат смотав его в кольцо, приготовившись метнуть к берегу, лодка все ближе: на берегу толпа ожидающих наконец лодка сажени на две в последний раз приподымается взлетом волны, стоящий на носу бросает канат, двое обнаженных бронзовых вбегают в воду которая достигает им выше колен, и схватывают канат, но в этот момент волна подкатывается к берегу ломается и обрушивается на них с шумом и пеной; схватившие канат в течение полуминуты не видны, скрытые столбом воды и пены — но еще несколько мгновений и вся толпа ожидающих на берегу, вцепившись в канат дружно тянет баркас на высокую отмель прочь от власти многошумящих вод.

Эта картина такая простая и безхитростная, но в ней много говорящего о патриархальных веках, ушедшего прошлого; помогавшие тянуть лодку получают от рыбаков по небольшой рыбе — бедняк, поработав в помощь нескольким баркасам, может добыть себе рыбный ужин.

Русские были центром внимания, не только в своей гостинице; всюду, где бы они не появлялись, на них смотрели любопытные жители: когда они шли по улице парикмахер оставлял клиента с намыленной щечкой и выскакивал взглянуть на русских, а с балкона гостиницы расположенной над пристанью им неизменно махала ручкой хорошенькая горничная, как всегда водится в Японии, с золотыми зубами.

В Японии, каждый имевший дело с книгой вооружен очками, но золотые зубы имеются у всех, независимо от социального положения,



Рыбаки.

Д. БУРЛЮК.

(Набросок 1922 г. сума в Японии).



Японки на берегу. Д. БУРЛЮК.
Набросок 1922 г. (карандаш).
Сума, около Кобе.

XVI. МОЙКА ПОСУДЫ.

Одним из интересных зрелищ морского берега в Мотомуре является смотреть, как как солнечный день часа в два женщины всего села спускаются на риф лавы мыть деревянную посуду: шайки, кадушки и кадушечки, в которых варится рис.

Ошимка все носит на голове; легко не задумываясь ставит она на голову кадку с двумя тремя ведрами воды, с этой жидкой ношей ошимка спускается косогора по ступенькам; руки ее свободны, часто за руку она ведет ребенка, повстречав подругу, останавливается и в течение несколько минут непринужденно разговаривает с ней; если попадется по сторонам что либо интересное, то она вертит головой во все стороны.

В день мытья посуды вся Мотомура — женская половина устремляется к берегу: хозяйка забирает на голову всю деревянную посуду из своего дома, некоторые обнаруживают, чисто цирковую ловкость, они ухищряются скомбинировать на своей голове целую пирамиду разнообразных кадушек, шаек, чанов, бочек и бочечек. На берегу тогда получается женский клуб, разместившийся среди этих деревянных сосудов, в которые море плещет влагу свою.

XVII. СТАРИНА НАПОМИНАЕТ О СЕБЕ.

На Ошиме многое пахнет старинной древностью: эти безконечные скрытые в кустарниках и ямах в толще лавы кладбища, дороги идущие в глубине зарослей, подобные старинным траншеям, так углубившиеся в каменную почву острова, что убеждаешься: по ним ездил тысячи лет и потому так глубоко ушли они в землю; в самой жизни Ошимы, так не далекой от Токио, много своеобразия и черт строго, охраняемых местным населением.

Ошимки и теперь еще ходят по улицам, прыгая с ступени на ступень узких лавы склонов, с волосами распущенными и плещущими по спине, подобно длинным черным змеям выходявшим когда то из страшного Ошимского вулкана, теперь полного умирающей лени.

Ныне висит он в глубине острова всеми забытый, ни кем не вспоминаемый, хотя донесший до современности царство смерти, древнейшее кладбище огней, усыпальницу пепла, саркофаги шлака, исковерканного и измятого как глина под рукой безумного скульптора.

Из Токио сюда приезжают для отдыха, для развлечения, но если всмотреться, если вдуматься в Ошиму, в этот черный обгоревший кусок шлака, торчащий со дна океана,

то она полна неизгладимой великой мрачности. С одной стороны — вечно встающая, разверзающаяся бездна океана, неугасающая память о ней, с другой — вечное, не утомимое напоминание о бушевавшем здесь демоне уничтожения, неусыпное напоминание, вечно машущее трауром берегового клочка суши, кусками, глыбами шлаков, чьи трагические лица искажились, сжались от страха, от ужаса, шлаки подобные лицам безумных старух, окаменевшим и сохранившим в чертах ликов своих застылость виденного ими ужаса, не вмещающегося в границы человеческого понимания.

Улицы в Мотомуре — узенькие проходы, выдолбленные в толще пластов лавы, Мотомуре нет колодцев — только водоемы собирают дождевую воду; у каждого дома стоит большой жестяной бак, в который с кровли во время дождя, по цинковым трубкам стекает вода. В Мотомуре всюду электрическое освещение, даже в общественном навесе, где доят коров, горят яркие электрические фонари.

Из достопримечательностей Мотомуры надо указать на парикмахерскую: работают на три стула. Третий мастер женщина, она исключительно, занимается с маленькими детьми; малюток матери держат на руках, а парикмахерша ловко и уверенно бреет маленькие головы до половины; делая прическу, всем хорошо знакомую, по японским куклам

XVIII. ТРУДНО ХОЛОСТЯКУ!

Все же в Мотомуре холостяк может соскучиться — с японской женщиной, или девушкой, скольнибудь серьезной интриги не завести — европеец у всех на виду, за каждым его шагом следят сотни глаз, интрига в Мотомуре физически вещь абсолютно невозможная; „ошимские гейши“ даже беззаветной храбрости и неразборчивости офицера (в этом отношении), заставили глубоко скорбеть и раскаиваться в своей смелости... Горничные гостиницы мило улыбаются, машут с балкона ручкой, приходят с верхнего этажа в номер к русским, между своею работой, не прочь посидеть, жеманно скаля свои золотые зубы, на коленях у футуриста, а Отакэ—Сан, даже повозиться вечером, принеся футоны, на них с офицером, но Отакэ—Сан „старая дева“ скуласта, растрепана, голонога и без всяких атрибутов; она влюблена в офицера, ему же вредно каждое лишнее движение и он делает их через силу... Надо знать характер японского народа: любопытный, но сдержанный, расчетливо — экономный и умеренный японец поклонник системы во всем: он любит хорошие манеры, раз навсегда усвоенный тон, тонкости этикета. Нет народа в мире более тонкого, чем японцы; эти черты грациозно носит облик своем японская женщина, она и в чувстве любви соединяет жантильность и изысканность с чертами рассудочно экономной холодности.

Художник в бархатных брюках, много бывавший за границей говорил:

— Японки напоминают мне в области любви парижанок — все из расчета, все за деньги, согласно рангу, положению занимаемому дам; от этого зависит стоимость любви, и наоборот в Германии — немочка, служанка ли это, квартирная ли хозяйка — сердце женщины полно сентиментальной, неразборчивой нежности.

Европейцу холостяку на Ошиме не трудно соскучиться, русские жившие в гостинице „Мироня“ (будущее) развлекались работой, сном, ночными прогулками по спящему коридору, тремя японскими завтраками в день а также рассказами.

XIX. НЕСКОЛЬКО РАССУЖДЕНИИ О ЛЮБВИ.

Художник в бархатных брюках делился анекдотами, читал стихи В. Маяковского, Василия Каменского, Ал. Крученых, футурист увеселял общество своей желчностью и ругательствами, а офицер рассказывал из своей жизни полной приключений; офицер наверное никогда не блистал красотой, но кто занимался чувством любви как спортом, тот знает, что любовь похожа на рыбную ловлю, нигде как в ней применима поговорка: „на ловца и зверь бежит“. Для любви не требуется даже особых выдающихся качеств ловца. Многие имеют все достоинства первоклассного ловителя, а видишь: сидит с пустой удочкой; а потому что она свернута и стоит у них в чулане; не ходят они на реку, ни в спокойные омуты жизни. Многие не занимаются любовью, потому, что они ленивы или заняты, любовь, как спорт, требует много времени и большой затраты сил.

Но ловцы наслаждения, люди которые не жалеют своего времени на чувства любви, знают, что добыча в ней чисто дело случая. „Счастливец“ в этом чувстве те, кто бездумно, не пугаясь, не размышляя, всегда легкомысленно тянет, что попало ему на крючок „Ловец наслаждения“ — истинный ловелас не разборчив, он никогда не привязывается к своей добыче, чтобы с легким сердцем бросить ее и ежеминутно стать готовым для новых усадных утех.

Ловелас энергичен, чувстве любви не знает что такое лень, что такое верность, что такое жалость, ловелас на своем щите носит герб „ветренность“: в этом отношении в характере ловеласа есть черты так называемого: „типического женского“. С большой буквы „Ж“. Когда жизнь течет на острове в чужой стране, где нет книг, то фантазия питается разговорами: разговор — обмен мнений по поводу мелких событий жизни, или же один завладевает ролью говорящего:

Так как футурист и художник бархатных брюках были заняты и часто, утомлены своей работой, то в роли говорящего, рассказчика большею частью являлся офицер. Вечера на Ошиме незадолго до отъезда были заняты интересным его рассказами из жизни на Украине.

Десять вечеров на Ошиме; декамерон в Японии.

Читатель в прилагаемом очерке, будет иметь возможность убедиться, что и человек лишенный литературного дарования, может дать схему психологически полную замысла.

XX. ВТОРОЙ РАССКАЗ ОФИЦЕРА.

Я только что окончил землемерное училище: как раз с этим временем совпало получение мной, небольшого (всего в полторы тысячи рублей) наследства. Я был молод, деньги, попавшие совершенно неожиданно в мои руки давали мне возможность, что назы-

вается, „погулять”, а не братья сразу за работу, как то сделали мои товарищи.

За время нахождения в училище я успел подружиться с некоторыми соучениками своими и, когда часть денег из моего кармана испарилась, то узнав, что компания молодых землемеров работает в селе Р. Полтавской губернии верстах в двадцати пяти от станции К. я отправился навестить их. Предварительно из Харькова я захватил два ящика, посетив лучшие магазины и нагрузив в один ящик закуски, а другой выпивку.

В первом были: обмотанный пергаментом прекрасный окорок, охотничьи колбаски, копченые колбасы, как то: московская, толстая под названием медвежья, десяток жестянок с сардинами, скумбрия в томате, сибирская нельма, рижская селедочка: разнообразные сорта сыра, начиная от знаменитого Розентова вплоть до настоящего Швейцарского; не были забыты мной и конфеты, причем от Пока я взял две коробки хорошего шоколада, специально для матушек — (на счет свинины и индюшатины их не увидишь, а шоколад в деревенской дыре — исключительное кушанье!). Содержимое второго ящика не буду описывать через чур подробно, что бы вас не расстроить — во первых, а во вторых не растянуть моего повествования. Но вкратце главное все же укажу: несколько сортов водок во главе с „Смирновкой”: были тут и наливки, английские горькие, виски, а главное внимание обратил на коньяки: из ликеров были: бенедиктин, шартрез, а для дам, крем де ваниль — банано, крем де роз, и какао—шуа.

Мой приезд в Р. вызвал сенсацию, а когда увидели мои ящики — батарею, то и совсем реально восхитились: следующий день было воскресенье: вот и решили воспользоваться сим обстоятельством и устроить бал.

Приглашения тотчас разосланы.

Пригласили батюшек с матушками и дочками со всех окрестных приходов, а так как сие место Полтавской губернии населено весьма густо, то и комплект набрался значительный, с отцом благочинным во главе, лицом пользовавшимся большим почетом и авторитетностью. Духовным лицам на приглашения стояло:.... посетить семейно — танцевальный вечер, имеющий состояться завтра в помещении Рублевской школы.

П. С. При вечере предположен преферанс „по маленькой”.

Кто же из батюшек или дьяконов, или даже псаломщиков устоит от столь неотвратимого искушения.

Приглашены были все учительницы местных и окружных школ, а так же дочери нескольких крупных хуторян; кадр кавалеров составляла наша компания не то пять, не то семь человек, учителя, два земских статистика, сельский агроном, приказчики из соседней экономии, вплоть до писарей волостного правления, из которых один так играл на большой гармонии, что мог заменить оркестр Энского полка, обыкновенно гремевший в Харькове на балах. Впрочем в училище, где устраивался наш бал оказался и хороший граммофон с пластинками танцев.

В самом большом классе устроили столы, на которые расставили „батареи” и всякие закуски. В соседнем вынесли всю мебель, а пол усиленно посыпали порезанным стеарином от свечей, наконец третья комната была занята

„монтэ карло”, пара ломберных столов и два простых накрыты и свечки — все как следует.

Я предусмотрел все. Я знаком с обществом этого рода: один окажется толстовец — непьющий, ну и все за ним — всем совестно, именно одна овца все стадо от алкоголя отобьет. Насчет приезжих я не знал, а вот в нашей компании был один звали его „Бибкой” — малый был хоть куда и развитой и товарищ хороший, а вот ужрется — „я не пью” — всем дурной пример и зараза. Этого я тоже перехитрил. Для него у меня был запасен специальный напиток „декокт” — очень сладкий, ароматный и увлекательный напиток и цвета этот напиток был интересного; составлял я его главным образом из крем де роз с прибавлением туда крепких специй: на вкус он был мягкий, а на голову действовал здорово и после первой трудно было удержаться, чтобы не выпить и второй.

Часов в восемь начали съезжаться и сходиться гости; погода стояла хорошая и в деревнях только что откосились; училище расположено на выгоне, за ним горка, а там лесок....

Совсем было забыл указать, что я любитель фейерверка. Их я захватил несколько штук, и днем не забыл под лесом вколотить пару кольев.

Школа была ярко освещена, в прихожей и комнате для танцев собралась много приглашенных; наконец приехал сам благочинный. Все это общество чинно расселось вдоль стен; солидные лица беседовали вокруг благочинного, а матушки не выпускали дочек из под своих крыльев. По настроению общества пора уже было приниматься за ужин: было заметно, что наиболее опытные „в деле” успели побывать в столовой, окинуть все зорким оком и остаться вполне удовлетворенными виденным; на вечерах, устраиваемых обществом, да еще молодым, трудно бывает определить хозяев: мы нацепили банты, но это слабо помогало.

Я суетился, пытался сдвинуть с места матушек и дочек, прочно засевших вдоль стен.

Это мне плохо удавалось. Я подошел к „Бибке” и просил помочь мне. —

— Это хорошо, что мы опаздываем, ведь среди барышень нет главной, так сказать души общества, без нея и веселья не будет. Это здешняя „звездочка”, лошади за ней уехали давно и она должна под’ехать с минуты на минуту.

— Я опять подошел к чете, сидевшей у стены, и стал уговаривать подняться и идти к ужину.

— Ах молодой человек, укоризненно сказала матушка, просите отца благочинного, пока он не пойдет, ничего не выйдет; я хлопнул себя по лбу и подскочив к благочинному, доложил:

— Все приготовлено, ваше преподобие, не откажите благославить скромную нашу трапезу.

— Но молодой человек, проходя я видел, что у вас там много, насчет спирта, я ведь сам человек не пьющий....

— Но батюшка, одну рюмочку Шустовки, у нас ведь рябиновая особенно приготовлена; Отец благочинный заинтересовался.

Мне „Бибка” еще ранее о его слабости к рябиновой сказал и я попал в самую точку.

Отец благочинный поднялся и все остальные, направились в столовую.

Большого труда стоило усадить согласно плану, заранее намеченному нами; барышень мы хотели посадить около кавалеров, и тем самым вывести их из под опеки мамаш.

Это почти удалось, за исключением нескольких робких девиц, которых не пришлось особенно жалеть. Я сел у стола так, чтобы иметь наблюдение за всеми наиболее слабыми местами этого своеобразного фронта. В первую очередь отец благочинный от его настроения зависело все; оно было барометром, по которому можно было предсказать погоду вечера. Пред ним я поставил рябиновые, пиво, а не заметно в след, пододвинул и бутылочку с ромом, зная, что когда подойдет чай, то она окажется очень кстати.

„Бибка” был посажен не очень далеко от меня, и я не спускал с него глаз, зная его каверзную природу, „декокт” был у меня наготове; по примеру прежнего, я был уверен, что он соблазнится пить то, чего не пьют другие и что больше похоже на красные чернила, чем на напиток. Я был уверен в успехе.

Рядом с собой я оставил пустое место, я знал или вернее чувствовал, что, „звездочка” появится как раз в разгаре нашего вечера.

Так и случилось.

Мне удалось провести в отца благочинного несколько добрых рюмок рябиновой, которые я усилил, примешав к ней коньяку. „Бибка” сначала упирался, говорил, что он не пьет; но когда я налил ему рюмку „декокта”, то он не устоял и затем дело пошло на лад.

Глядя на отца благочинного, наиболее упорные и скромные тоже стали следовать его примеру. Настроение общества становилось все более оживленным, даже матушки охранители порядка и благочиния, не могли устоять пред моими коробками шоколада и некоторые из них безусловно, оказали должное внимание сладким напиткам специально пододвинутым им.

Кое кто из учителей уже „пересадил”, так например один педагог по фамилии Ковбасюк вдруг набросился на одного из распорядителей вечера, говоря ему, что он замечает несколько тарелок колбасы, поставленных, специально пред его прибором и, что это гнусное издевательство над ним и он этого так не оставит. Его успокоили, поставив перед ним две тарелки с сыром.

Я только что затеял интересный разговор с отцом благочинным о преимуществах настоящей смирновки перед рябиновкой и собирался, заканчивая фразу, произнести: „Пред ней не устоять”, как раздались возгласы: вот и „Звездочка”!..

Я поднял глаза, она стояла как раз за отцом благочинным, и сказал: „пред ней не стоять” это было окончание фразы, обращенной к благочинному, но она, встретившись глазами с моими, вдруг вспыхнула и наморщила брови.

„Звездочку” принялись усаживать; только теперь заметили, что рядом со мной есть пустое место — ее посадили на него.

Я рассмотрел ее издали и теперь мог рассмотреть вблизи; это была девушка, при лице большой белизны: слегка чувственные губы и нос задорно вздернутый; на первый взгляд она не показалась мне очень красивой, но в ней была особая привлекательность, живость характера; у нея были широкие плечи и тонкая талия: одета она была просто; ей

очень шла черная бархатка, положенная на ее круглую сильную шею.

Когда она села рядом со мной, то я рассмотрел ее еще более подробно: брови ее были темнее волос, они были подняты высоко над глазами, а к переносице сходились довольно близко, что придавало ей лицу строгое и как бы надменное выражение. Еще за ужином мы с ней начали говорить так просто, как будто были знакомы давно, как будто мы были друзьями, встретившимися после разлуки.

Звездочка приехала под конец ужина, было пора переходить к следующим номерам вечеринки: у многих чесались ноги, многие и не танцовавшие были в таком градусе, что готовы были пуститься в пляс.

Шумно встали из — за стола; благочинный сказал:

— Ну молодым можно и поплясать, а мы по стариковски пойдем перекинем, хе-хе, пару другую картишек переметнем. Отец благочинный был в хорошем настроении духа, видимо он остался доволен ужином: за благочинным потянулись в карточную комнату все наиболее пожилые и солидные; молодежь — барышни, наконец, покинутые своими мамами были представлены самим себе; Вот здесь то началось настоящее веселье и собственно вечер.

Среди барышень была одна, которая как бы служила антиподом Звездочке: она была большого роста, хорошего сложения, но имела через — чур вялый характер; скажешь:

— Зина давайте танцевать!

— Ну, у что же давайте!... тянула она; вялость была разлита и во всех ее движениях.

— Зина, давайте целоваться...

— Ну.. чтоо жее даваайтее: послушаешь ее и самому станет лень не только целоваться, а с места двинуться.

— А вы Тая, будете танцевать... спросил я Звездочку.

— нет сейчас пока не хочется: на меня сих какой то странный сегодня напал — мне хочется пить...

— Чтож это можно сделать...

Я человек опытный: еще до начала ужина в укромное местечко спрятал пару другую бутылок и теперь я появился с бутылкой, как сейчас помню, Какао—Шуа.

Взяв со стола вазу с фруктами, я сказал Звездочке:

— Знаете что, пойдете на крыльцо, там нам никто не помешает — мы можем разговаривать, а эта бутылка поможет нашей искренности.

Хотя школа не была старым зданием, но крыльцо, выходящее на выгон, имело ступени из широких досок, сильно покосившиеся; я положил свой пыльник на верхних ступенях его и сервировал десертный стол, поставив бутылку ликера и фрукты.

Луна еще не всходила, но небо над лесом начинало голубеть: деревня спала, там была тишина и лишь издали доносились скрипы воза, очевидно какой то запоздалый посетитель спускался с горы, везя ароматное сено.

— Что же давайте пить!.. мы чокнулись.

— За что?...

— А так ни за что!.. за то, что молоды, за эту ночь, за нашу встречу.

— Знаете, сказала она, мне с вами хорошо, мне кажется, что я вас знаю давно давно,

мне весело, но сегодня я хочу, положительно мне сегодня необходимо выпить...

Меня интересовала эта девушка, мне хотелось посмотреть как она опьянеет: сам я выпил уже довольно много за ужином и теперь ликер действовал на меня.

На крыльцо вышел „Бибка“.

— Ты забыл про фейерверк, скоро взойдет луна, надо пускать до восхода ее; мне не хотелось покидать крыльца, я попросил „Бибку“ пустить ракеты; он согласился; все вышли, кто к окнам, кто на балкон смотреть фейерверк.

Когда у леса раздалось шипенье и первая ракета, чертя небо взлетала над лесом, Звездочка вскочила сказав:

— Побегим! Кто скорее.. она бежала впереди меня, я вслед, мне не хотелось обогнать ее, в ее фигуре было столько стремительности, а в беге легкости; волосы ее красиво распались на плечах, я догнал легко бегущую и, конечно, целовал ее шею, а так как она старалась защитить ее от моих молодых усов, опуская голову, то поцелуи мои попадали ей на подбородок и щеки; один раз я поцеловал ее в самые губы, но она вырвалась от меня и побежала к лесу, где раздавалось яростное шипенье, это „Бибка“ наживал ракеты.

Бибка вошел в раж — ракеты то взлетали на воздух красиво разрываясь в черноте неба, другие же вдруг летели в сторону, сгорая среди кустов орешника.

Впрочем, всех ракет нам пустить не удалось — примчался сторож из училища, изрядно выпивший и доложил, что благочинный просит прекратить, „пущать ракеты“, так как староста бонится за скирды общественного сена. Хорошо, что у меня был запас ликера — мы опять сели на крыльце, нам никто не мешал, из школы доносилась музыка и шум танцев: после двух рюмок Звездочка сказала:

— Теперь я хочу танцевать, но тут запрявился в свою очередь я:

— Что же идите... Она шла; на балкон вышла Зина, взойдящая луна освещала ее большое вялое тело.

— Зина давайте пить.

— Давайте.. сразу согласилась она.

— Зина давайте целоваться...

— Давайте — уступила Зина.

Я обнял ее за талию; лунный свет падал на ее прямые светлые волосы, глаза ее спокойно смотрели на меня; ее тело не сопротивлялось, но в нем не было и того, что чувствуется всегда обнимающей руке — оно не лгнуло, оно оставалось спокойным.

Вдруг скрипнула дверь, за ними стояла Звездочка

— А, мое место занято, может быть, я мешаю, она повернулась на каблуках и снова пошла к танцующим.

Я был зол на себя, на Зину, на все на свете. С горя я пододвинул к себе бутылку Какао—Шуа и сосредоточенно пил ее до последней рюмки. Я пошел к танцующим.

Мои ноги не годились для этого занятия; я увидел Звездочку, которая, как мне показалось, была очень увлечена разговором с Петуховым — молодым человеком не дурной наружности.

Прошел в карточную комнату; там сидели и играли по маленькой; настроение мое было не такое, чтобы быть в состоянии иг-

рать в этом темпе; я был настроен бравурно; с собой у меня было около ста рублей; я сделал несколько ставок, изумивших всех присутствовавших; и что же! — Мне повезло: не прошло и часа, как предо мной лежала целая куча разноцветных бумажек, а еще через час, некоторые встали из — за стола, не желая блестя проиграться; благочинный уже несколько раз посылал домой за подкреплением.

Я играл, а у самого на сердце было скверно — зачем я впутался в эту глупую игру? Звездочка... может быть с ней можно еще наладить.... Но я играл — выигрывал, а чем больше выигрывал, тем более мне было неудобно встать и уйти....

В дверях стояла Звездочка, она делала мне знаки головой; я сделал несколько совершенно безумных ставок, желая проиграться, и удивительно — опять выиграл. Тогда я взял большую часть денег, лежавшую предо мной; сколько там было не знаю точно — не менее трех сот рублей, во всяком случае...

Я сказал отцу благочинному:

— Я волнуюсь, чувствую, что не могу, сосредоточенно играть, я оставляю здесь вам, батюшка, мои деньги и прошу изразыграть.

Когда я вышел на крыльцо, луна поднимаясь высоко, делала все предметы полными той воздушной прелести, на которую способен только лунный свет.

Звездочка сидела на верхней ступеньке, облокотясь на столбик перил: ночной свет мягким ореолом ложился на ее наклоненную головку. Я сел около нее.

— О чем думаете?..

— О человеческих чувствах, таких же трепетных: неуловимых, мало осязаемых, как лунный свет. — Знаете, сказала она, мне наша встреча кажется многозначительной; она такая простая и не сложная, час тому назад я думала, вернее хотела заглушить в себе чувство привязанности, которое вдруг родилось по отношению к вам — я хотела разсердиться на вас, но вижу, что этого не могу сделать. Но не думайте, что это потому, что в вас есть что либо особое и особенное, что дает вам власть над моим существом. Я чувствую, что я не могу иначе. Сегодня во мне прилив особого сумасбродства. Сегодня, а может быть и завтра, я вдруг вообще перестала ценить самое себя. Сегодня весь мир мне кажется огромным океаном, в который надо, пора вступить.

— Тая.. не знаю, может быть, вы говорите то, что чувствую я — во мне бунтует тот же хмель опьянения я счастлив одним — что встретился сегодня с вами... Я обнял Звездочку за талию и мы несколько минут сидели молча, слушая биение наших сердец и шум голосов, доносившийся сквозь открытые ярко освещенные окна школы. Вдруг перед нами появилась тень с кнутом, очевидно, принадлежащая ямщику.

— Добродию вы не знаете учительки с Змиевки... Но Звездочка не дала ему окончить сказав:

— Я заказала лошадей пораньше, это он за мной...

— Я поеду с вами.

— Хорошо — просто сказала она.

Зайдя с черного хода, я захватил пальто, фуражку и вернувшись к крыльцу, увидел, что Тая сидела в бричке, запряженной парой лошадей. Мы поехали.



Рисунок кистью.
(1922 г.) Кобе.

Д. БУРЛЮК.

Не могу вам рассказать, того восторга, тех сладострастных чувств, которые переполняли мое сердце, еще не истрепанное, еще не захватанное лапами любовных наслаждений. Не знаю быстро ли бежали кони, или дорога была ухабиста, но среди полей зреющей ржи наши уста ежеминутно сливались в длительных поцелуях.

Лицо Тани, озаренное мягкими зеленоватым светом ночи, было полно неизъяснимой прелести, ночной ветер играл кудрями ее головки и они пушистым дуновением ласкали мои то лоб, то щеку.

Не знаю долго ли мы ехали, не знаю куда мы ехали; должно быть долго, должно быть по направлению к станции К, потому что в мягком предутреннем свете, смещении луны и рассвета, я вдруг увидел в стороне от дороги мельницу, темневшую своими тремя крыльями.

— Пойдем к ней, сказала она, задышавшись от переполнявшего ее чувства, пойдем к ней, там мы будем одни...

Дав кучеру какую то бумажку, (может быть и очень много) случайно подвернувшуюся в кармане, путаясь в мягкой траве, не кошеной межи, пролежавшей между овсяным и ржаным полями, я пошел за Звездочкой, почти бежавшей впереди меня.

Вот и мельница... она стояла на не большом холме недалеко был небольшой поселок, а за ним еле виднелась предрассветном сумраке водокачка станции К.

Мы бурно отдались восторгам первого чувства; не подумайте, что это было физическое сближение; грудь переполнялась чувствами восторга, туманившими и опьянявшими все существо. Наши тела сплетались, находя радость даже в одном простом случайном прикосновении к бокам, плечо к плечу, пылающий лоб к щеке. В Тани между тем проснувшись, ей самой, наверное, по разуму не ведомая, но рожденная ее женской природой

властная физическая жажда.

— Возьми меня, милый желанный, я твоя... лепетали ее похолодевшие губы...

Но весь этот длительный вечер, изрядное количество алкоголя, поглощенного мной, наконец—бесконечное бурное томление, сладострастие, пожирившее мое существо в течение последних часов, — все это надломило мои силы.

Мне самому было не понятно: пред мной клонились ветви сгибавшиеся от спелых, готовых упасть плодов, а мои длани были лишены сил — сорвать эти плоды. Пред мной раскрылся родник неизъяснимой, долгожданной сладости, а уста мои не раскрывались, прикикая к нему в бессильной истоме.

Таня очнулась, было совсем светло. Я хотел подойти и обнять ее, но вдруг я увидел, что она плачет. Женские слезы всегда неприятно действуют на меня, но теперь мне было вдвойне неприятно, я чувствовал себя не в своей тарелке, мне было неловко пред самим собой, а перед Звездочкой просто совестно...

Я даже не могу объяснить этого чувства, как будто я надругался, осквернил или покушался разрушить запретное святое.

Между тем, стало совсем светло; женщины из поселка гнала коров.

Взошедшее солнце бросало длинные тени животных на выгон, где трава была выбита и выщипана скотом.

Таня встала и не глядя на меня, прошла межой на дорогу, где нами были оставлены лошади.

— Прощайте... донесся ее голос, она села и уехала.

Я нанял в поселке лошадь и часам к девяти утра был в местечке Р., где состоялась знаменитая вышеописанная вечеринка. Войдя в школу я увидел, что все спали, после, вероятно, недавно окончившейся выпивки.. Я падая от усталости, прошел в класс, где была раскинута моя постель, повалился на нее и погрузился в сон глубокий и длительный.

Затем я уехал в Харьков.

Я был молод: впечатления жизни скользили по моей душе, где было мало царапин и борозд и не оставалось воспоминаний.. Так бывало раньше, но странно, теперь память несколько раз являла мне грациозный образ Звездочки. Я ловил себя несколько раз на занятии, восстановить в уме момент за моментом все события ночи закончившиеся, так для меня неожиданно, слезами моей мимолетной подруги у старой деревенской мельницы, дорога к которой шла по узкой меже, где сплетались колосья ржи и овса...

Я вел рассеянный образ жизни.

Как то я поехал опять на станцию К. навестить моего друга, обитавшего на даче недалеко от станции; я проголодался и зашел в корчму в поселке при станции; в окне была видна своими тремя крыльями мельница, черневшая вдалеке на пригорке; хозяйка подала мне яичницу, которую я подкрепил чаркой хорошей наливки, поднесенной мне старухой на деревянном блюде.

— А я вас паньчу знаю, я хорошо приметил, как вы с барышней у мельницы миловались, я даже коров старалась гнать поодаль, чтобы вам не помешать. Она помолчала, а затем вдруг добавила:

— Вас что не видать в наших краях, а барышня частенько под мельницей сидит.

— А до Змиевки далеко отсюда?... спросил я.

— За ложбинку, через лесок верст с пяток, скороговоркой улыбнулась старуха.

Товарищ, ждавший на даче, так и не увидал меня в этот день. Сделав верст десять, я очутился в Змиевке.

Маленькая деревушка лепилась над прудом, отражая белые стены мазанок, вишневые сады и несколько тополей, которыми был окружен дом священника. Школа оказалась запертой; на мое недоумение из соседней мазанки, очевидно, своей квартиры, вышел старик в белой рубахе и таких же широких штанах; набивая трубку, он сказал, что Татьяна Михайловна „в'ехали", но уже давно и „должно статься" скоро „навозврат", что мне уезжать не следует, а лучше обождать, ключа у него нет — он у барышни, а что посидеть можно и на крыльце. Я проголодался; послал старика за полубутылкой водки, к ней он принес пол ковриги черного хлеба и несколько соленых огурцов. Я выпил лишь две рюмки, к явному удовольствию старика, который быстро расправился с остальным. Старик напоминал Сократа: череп его был лыс, он был курнос и ко всему безусловно разговорчив, а несколько рюмок вполне отвязали ему язык: он рассказал о барышне, о том, что после поездки в Р. откуда она вернулась на другой день, ее характер изменился, она стала не веселой и часто закажет лошадей и поедет...

— Я даже ямщика расспрашивал, куда мол, не по знакомству ли какому...

— Нет говорит, к станции К. поедет у мельницы немножко погуляет и назад — без знакомства значит...

Раздался стук колес. Звездочка несколько не удивилась моему приезду: замок с двери школы был снят.

Комната учительницы помещалась в школе; она была отделена от большого единственного класса только корридормом, по которому мы прошли. В комнате была кровать, закрытая белым пикейным одеялом, подушки — кисейной накидочкой пред окном — стол, около него два стула, на подоконнике в стакане воды голубые васильки, несколько мух со звоном бились в стекло окна. Надо сказать, что комната была довольно узкая и дверь приходилась как раз в ногах кровати. Мы изголодались, только теперь я почувствовал, как я соскучился по Тани, только теперь мне стало ясно, как она нужна мне. Сначала мы обнимались, стоя посреди комнаты; затем, кажется, я сидел на столе, сладостно прижимая Звездочку к себе. Не помню, как наши тела были брошены на узкую девическую кровать. Это была буря, сгибавшая юный цветущий сад, гордый ветер ломавший ветви, заламывавший руки, заставлявший голубое небо щуриться, от бьющих ему глаза лепестков, цветов срываемых дерев.

Помню я или не помню девическое белье, где чистые складки сплетались с хаосом скотанных и смятых кружев, помню я, или не помню голубые чулки на белизне стен и простыней... И, вдруг, дверь уступила напору извне, крючек с шумом соскочил, вошел старик, неся в руках лампу.

— Вот вам и лампочка, а сейчас и самоварчик принесу, спокойно смотря на нас своими безстрастными глазами, произнес он.

Можно порвать во время игры струну, можно потерять последнюю главу книги, про-

читанной лишь до половины. Мы сидели с Таней, смотрели на огонь лампы и на пар, подымавшийся от самовара.

— Хотите я покажу вам школу.

Мы вошли в темный класс; три больших окна пропускали тонкие нити света звезд, мерцавших на темном фоне неба. Во мне все трепетало, я чувствовал, как я переполняюсь желанием, ставшим моей болезнью, моей идефикс, что я подобен пиллигриму, идущему к обетованному, молитвенному граду чудес, что видны уже златоверхие купола храмов, что упительный перевоз благовеста, несущийся от колоколен, внятн уху — что еще несколько необходимейших усилий, для которых можно пожертвовать всем запасом имеющихся сил и пиллигрим станет обладателем, владельцем святых.

От звездного света падавшего сквозь окна в классе сельской школы господствовала синеватая таинственная мгла. Я прижимал упругое молодое, девственное тело, дрожащее трепетом страсти, к себе. Мы не говорили, нам не надо было слов, мы понимали друг друга, так как были в эти моменты одной душой, а тела наши готовы были, желали впервые, с целью познать друг друга до конца, готовы были соединиться (впервые) воедино.

Она была одета, мое тело тоже было облачено костюм; костюмы, конечно, не были нужны нам, но мы их мало замечали. Я безумно, я страстно обнимал ее, прислоненную к ряду парт и вдруг опять открылась дверь и вошел несносный старик, неся свою лампу. Он, видите ли обезпokoился, что паныч и барышня сидят в темноте. Бешенство овладело мной; мне стоило больших усилий, чтобы не вырвать у него лампу и не швырнуть ее ему в голову; затем он принес охапку сена и Звездочка соорудила мне на полу классной комнаты душистую и мягкую постель.

Ночью она пришла ко мне. Я спал, мне снился сон в котором картины воображения и действительности переплелись странным образом; мне снилось: я стою в ветренный день на холме у мельницы, она машет своими тремя крылами и вдруг эти крыла обращаются в трех девушек летающих по воздуху; все трое похожи на Таню; я ловлю первую в страстном желании слиться с ней, обнимаю ее, и вдруг я чувствую ее тело металлическое, мои губы касаются твердого и холодного существа, тогда в отчаянии я бросаю ее на землю она превращается в старуху из корчмы:

— Панычу, разве ты не видишь, что вот там она сидит и тоскует по тебе...

Я подымаю голову и опять вижу девушку, с лицом Звездочки, но все мои попытки соединиться с ней остаются тщетными.

Я пробуждаюсь, я чувствую упругие босяе шаги, под которыми слегка гнутся доски пола.

Да, это Таня: в синеве мерцания звезд, пророненного ими сквозь окна я вижу, лежа на полу, что она стоит около двери, в трех шагах от меня. В темноте белеет длинное пятно рубашки, она образует вверху три узла, из которых слабо мерцают прозрачной матовостью тела руки и грудь; стройные ноги, даже в темноте, дают чувствовать свою точную округлость; я сажусь, я простираю к ней руки; через мгновение она сидит у меня на коленях; только теперь, хотя темно — наощупь, я постигаю, каким роскошным телом, телом лишенным излишества, но полным того

особого сладострастия, которым как цветок благоуханием, наполнено тело девушки, не успевшей увянуть, тело созревшее, спелое для любовных утех.

Таня в рубашке не смятой и холодной, свежестью, только что надетого, белья; рубашка приподнята двумя остроконечными грудями; они трепещут, как будто бы она посадила под холст двух живых голубей; талия тонкая и переход к широким, но стройным округлым бедрам обозначен заметно для моих жадных, ищущих рук; колени круглые, но ожа на них плотно притянута. С приходом Тани класс для меня превратился в душный гарем, мое ложе в роскошные диваны Востока. Но должен сказать, что сколько ни делятся наши объятия, как ни стремятся слиться тела нескромно и бесстыдно прижимаясь друг к другу, они остаются раздельными, не слитыми.

Каждый раз, как я в безумстве разгоряченной страсти пытаюсь овладеть ею, идущей мне навстречу, полной ответного желания, каждый раз я чувствую, что силы покидают меня, и она лежит в моих объятиях недоумевающая, разочарованная, неуголенная и уже чуждая, уже не нужная.

Таня шепчет:

— Ты знаешь о чем я сейчас думаю, я думаю о холме и нашей мельнице, ты помнишь этот рассвет мельницы, нет я чувствую, что только там я могла бы быть счастливой... поедем туда, ты хочешь сейчас поедем туда...

Я утомлен, я обессилен, ея желание кажется мне странным и сумасбродным, но впрочем я не говорю ей этого.

— Сейчас ночь, сейчас поздно, да и луны теперь нет, а кроме того смотри начинается дождь.

Действительно, по стеклам сначала медленно, затем все чаще барабанит дождь... деревья растущие около школы шумят и вдруг раздается близкий удар грома; комната то озаряется, то тухнет от синяго света молний; Таня лежит около меня, она прижимается ко мне, глаза ее чернеют на белом лице, как два больших черных цветка; так мы лежим все время, пока длится не долгая летняя гроза; тучи расходятся и начинает светать.

Таня уходит от меня на свою узкую девическую кровать; на ее глазах слезы, но это не слезы разлуки: не слезы потери, скорее слезы разочарования и обиды, которую она сама бы не сумела бы ни понять, ни объяснить.

Я разбит изломан, искалечен, опустошен.

Я сплю, как спят руины, как спит упавшее дерево, у которого подгнили корни. Мое прошлое, если бы во сне я мог констатировать, видится мне огромным камнем стыда, навалившимся на мое бытие и растоптавшим его.

Я проснулся и долго не мог понять, где я и что со мной. Сначала я думал, что я у своего товарища, к которому я собирался вчера. И вдруг все события вчерашних вечера и ночи встали пред мной.

Прошлое угнетало меня до такой степени сильно, что при одном воспоминании, краска заливала мое лицо. Я постарался отогнать мысли о нем. Меня пугало другое: как я встречаюсь с Звездочкой; как будет она смотреть на меня... Уехать я не мог, видеть Звездочку и покинуть ее было свыше моих сил. Остаться же было продолжением пытки, издевательства над мной, и надругательством

над девушкой. Эти мысли, туманные и неопределенные бродили в сонной голове моей и окончательно разбудили меня: я открыл глаза и сел: пред мной на полу стоял кувшин с молоком, черный хлеб и огурцы, а около двери чашка с водой и над ней на гвоздике висело полотенце.

В комнате было очень светло, солнечный свет наполнил ее бликами и рефlekсами.

Я умылся, а так как чувствовал голод, то не отказался и от простой деревенской пищи. Выйдя в коридор я постучал в дверь Таниной комнаты, — ответа не последовало, с силой толкнул ее, она открылась, — была пуста...

Я вышел на крыльцо, сторож, похожий на Сократа, подошел ко мне и спросил меня как я почивал, а на мой вопрос об учительнице отвечал, что Татьяна Михайловна еще „геть, геть“ утром „вехали“ и, что не известно куда, а когда приедут „тошно не известно“.

— Так сказали, что может и на несколько дней потому что с собой чемоданчик взяли...

Было уже далеко за полдень: Сократ, как я называл сторожа, достал мне лошадь и я, дав ему три рубля, так что на всем его лице, включая и лысину, выразилось изумление, потопился к станции К. а потом в Харьков.

Я продолжал вести образ жизни человека, у которого есть ему не нужные деньги; правда, что этих денег оставалось уже с каждым днем все меньше и меньше; дошло до того, что осталось несколько десятков рублей, мне надо было искать какое нибудь дело, с этой целью я несколько раз уезжал из Харькова.

Однажды, во время одной из таких поездок мне пришлось быть в районе станции К. Я ехал телегой запряженной парой крестьянских лошадей. Лето склонялось к осени; поля были скошены и только кое-где, следствие дождей последнего времени, оставались не срезанными кресцы хлеба.

Лошади бежали дорогой, где многочисленные телеги пробили глубокие колеи. Дорога заросшая травой с верхушками оборванными непрерывной ездой. Посредине дороги трава эта густо была вымазана легтем, капавшим с осей деревенских экипажей. Я ехал и как это часто бывает с молодыми людьми, восстанавливал своей памяти интрижки и эротические приключения недолгой жизни своей. И конечно, образ Звездочки встал моем воображении. Я вспомнил сладострастные сцены, пережитые с ней, где я был несчастливым любовником...

Сладострастные сцены, проходившие всегда с такими бурным эротическим возбуждением, но всегда имевшие неудачно плачевным финал. Сцены, заканчивавшиеся внезапным срывом всех снастей с фрегата страсти, после чего наступал полный штиль моих похотей и неуголенных желаний.

В моей душе встал образ Тани, ея недоумение, ея досада, ея невольные слезы, какой то, ея самой не осознанной вполне ясно, внутренней обиды, подсознательной женской природы, возмущавшейся в ней самым ярким образом.

Все эти воспоминания вызвали на щеках моих легкий румянец. Во мне самом это воспоминание будило мужское самолюбие; я чувствовал себя, не закончившим простого, но вместе с тем большого, важного, бросающего тень воспоминаний на целые годы. Если бы меня спросили, хочу ли я встречи с Звездочкой, то кто бы мог поручиться мне, что



Обезьяны.
Рис. кистью. 1922 г.

Д. БУРЛЮК.

мне не придется уходить, опять не выполненным покидая, то что судьба и женщина поручили совершить мне.

Я смотрел в пустынные поля, наполненные осенним прозрачным воздухом и вдруг увидел, совсем вблизи белую лошаденку, сворачивавшую, в расстоянии нескольких десятков шагов впереди нас на нашу дорогу: через несколько минут мы обгоняем крохотную тежонку, в которой я узнаю Звездочку: она раскрыла черный зонтик, от солнца еще довольно яркого в эти осенние дни.

Останавливаемся; Я искренне обрадовался; опять эта девушка показалась мне столь близкой и нужной и мне стало странно, как я мог столько дней жить, не видя ее милых каштановых волос и больших немного диких серых глаз на белизне ее личика. Только теперь я заметил, какие яркие и чувственные у ней губы: и всю ее я вижу другими глазами: в ней много черт, которых я и не подмечал ранее: брови слегка приподняты, как бы затай страдание и между ними легла складка решимости.

- Вы куда...
- В Харьков, а вы...
- Тоже...

Через час мы сидели в корчме; сквозь окно своими тремя крылами на дальнем холме мельница... Я смотрю на нее и вдруг вижу, что на склоне холма сидит девушка, одетая в черное, на белой шее бархатка, она закрыла глаза руками и ее локти вздрагивают — она плачет. Почему плачет девушка этим расцветом, оправляя свое помятое платье и истерзанное белье?...

Почему эта летняя ночная любовь в поле вызвала недоумение, раздражение и слезы.

Почему эта девушка, чьи каштановые кудри колыхнет ветерок разсвета, чувствует себя как бы оплеванной и уничтоженной...

Эти мысли проносятся в моей голове, как стая испуганных птиц, как осенние листья,

гонимые поспешным холодным дыханием.

Таня, может быть она тоже думает сейчас об этом, осматривает курьезные фотографии, усеявшие стены: вверху шли все генералы, начиная с Куропаткина, русско-японской войны: генералы очень пострадали от мух, из которых некоторые болея животом, выбирали местом отдохновения их благородные физики; ниже по стенам висели родственники и знакомые домохозяев, причем было много парных „кабинетных”, где мужчина снимался, положив свою мозолистую руку на плечо женщины, державшей в руках бумажный букет; если фотографировались двое мужчин, то между ними стоял графин водки и они подымали рюмки с видом людей, принимающих яд.

У одной из стен стоял комод, на котором друг против друга помещались два гипсовых мопса, с золотыми бантами у своих глухих до нельзя морд.

Мы сидели корчме: если яшницу, а я пил традиционную вишневую наливку...

Внезапно я услышал свистки поезда. бросив на стол какую то бумажку, сопровождаемый Таней побежал к станции — на наше счастье поезд задержался стоянкой и мы успели сесть.

По приезде в Харьков я взял извозчика, который благополучно доставил нас в перво-классную гостиницу, только что отстроенную.

В широких корридорах горело электричество, красные дорожки вытягивались во всю длину; нога безшумно ступала по ним между дверями, из за которых не доносились звуки голосов; лакей отвел нам номер, с большой кроватью; я заказал ему ужин: фрукты, вино и шампанское.

Пришла горничная, она принесла свежее белье и со спокойным деловым видом высоко взбила подушки.

— Ты знаешь, я завтра уезжаю в Крым, сказала Таня, едем со мной, поезд идет в половине двенадцатого...

— Конечно, моя дорогая, для меня, это будет великой радостью.., Танечка, как хорошо.. Мы поедем, мы снимем комнату в Алушке и будем слушать шум лазурного моря, только мне надо заехать домой за деньгами с собой у меня не так достаточно.

— Нет я не отпущу тебя, отсюда мы поедем прямо на вокзал, из Крыма ты можешь написать и тебе вышлют что нужно.

У меня теперь достаточно денег, их хватит на двоих нас. Подали ужин; он был очень хорош; после путешествия, странствий и мытарств мы оба уничтожили его весело смеясь и обмениваясь взглядами, в которых была исчезнувшая усталость и вспыхивали огоньки желания.

Таня нисколько не тяготилась обстановкой, столь чуждой таковой сельской школы, в которой она учительствовала. Как оказалось учительствовала она недавно, да и стала сельской учительницей, не потому, что ее побуждали материальные условия, а исключительно из — за желания видеть и знать жизнь. Принести пользу народу. Помочь делу революции. Приблизить будущее.

Она умела относиться к жизни, как к книге; она уподоблялась хорошему чтецу, который знает, что качества книги лежат столько же в ней самой, сколь и душе, природе внимательного чтеца.

Звездочка не отставала от меня:

— Мы оба много пили; наконец лакей ушел, оставив кофе, фрукты и шампанское.

На другой день Таня не уехала в Крым, ни она ни я не выходили из номера, который превратился в душную теплицу нашей любви, наших восторгов.

Нет ничего труднее, как подробно рассказать, об этих часах страстных томлений: мук и возбуждения, которые столь наполняют жизнь, что делают время текущим неосознано.

Мы были одни, наконец одни, никто ничего не мог помешать нам, мы могли забыть обо всем на свете и заняться только друг — другом.

Мы разделись, номер был ярко освещен, дверь заперта, с Звездочки спала последняя ткань, и она стояла пред мной целомудренная, прекрасная и гордая в своей девической наготе: яркий свет красиво оттенял ее развинувшуюся сочную грудь, немного тонкую талию и бедра в которых единым аккордом звучали мощь женщины и решительность девушки и сладострастие природы, которая во имя жизни ломает все преграды, все условности, все приличия и опрокидывает все благоразумные решения.

В любви для любовников этот момент, когда они видят друг — друга впервые обнаженными, когда ничто постороннее не может нарушить их свидания, имеет большое решающее значение. В любви участвуют пол, а затем элементарные чувства, роль которых весьма значительна.

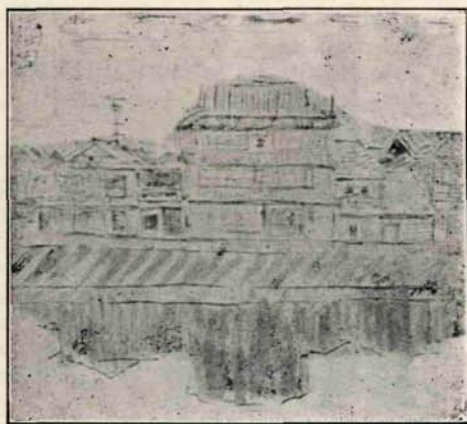
Вспоминайте те моменты, когда вы обураваемые страстью провели с женщиной: осязание — оно помнит бархат кожи нежнейшие места тела, и те шероховатости, которые вдруг с удивлением встречает рука, в своем чувственном путешествии.

Губы — они перелистывают страницу за страницей душную книгу любви.

Обоняние — ему, ведь, дан запах здорового молодого тела испаряющего благовония; но зрение — это высшая точка на горе любовных утех: с нея видны все повороты дороги все изгибы белых отмелей тела, вокруг которого волнуется океан любви, ищущей насыщения конечного, сверх-мерного. Зрение — высшее благополучие эротических забав. Участие зрения делает любовные утехы полным гармонией: любовник, живущий, дающий пищу всем пяти элементарным чувствам, в течение сеансов любви подобен судну в океане, пользующемуся всеми способами передвижения.

Таня была раздетая, мы лежали на мягком пружинном матрасе хорошей кровати, мы оба дрожали от ненасытной страсти: жаркие объятия наших сплетшихся тел, чередовались с изсушающими поцелуями — минуты иногда тянулись как целые часы и час был подобен минуте.

Иногда совершенно раздетые мы вставали с ложа и переходили к столу, ели фрукты, запивая их светлым прозрачным вином. А затем мы вновь и вновь возвращались к обольстительной жатве спелого поля под горячими лучами потного солнца страсти; покаюсь, не буду таиться — какой то злой рок тяготел над мной в этой любовной истории; Таня лежала на кровати — вся раскрытая, согласная, соблазняющая и соблазнительная... Я шел по белой дороге ее ног и что же, к стыду моему — я должен признаться, что каждый раз, как я стучался в запертые врата храма сладостра-



Японская гостинница
для мужчин. Д. БУРЛЮК.
Фукуока. 1922 г. (рис. кистью).

стия, во мне бушевал огонь желаний, но как только врата были открыты — я падал в изнеможении, полный отчаяния и презрения к самому себе... После одного из таких неудачных паразитизмов страсти, Таня вдруг села на кровати, она взяла со спинки стула и надела свою рубашку, и закрыв лицо руками, вдруг заплакала.

— Что с тобой.. спросил я о чем ты плачешь?

— Ах мне здесь не нравится, здесь все делает меня несчастной, как хорошо было бы сейчас ночью там около мельницы...

Но ведь тогда ты как же плакала, как и сейчас...

— Да, но тогда мне было жаль моего прошлого, на пороге, как мне казалось, новой жизни эти слезы были на грани равно и счастья и горя... Теперь же, теперь я плачу об этой ночи у старой мельницы; там мы прикасались друг к другу так же просто, как один цветок никнет другому; наши взгляды были связаны золотыми нитями предвечных звезд; эта старая мельница, темневшая высоте, в ней была степная мудрость, склонившаяся над нами и благословлявшая нас...

— Черт возьми... положительно, эта проклятая мельница была причиной всех моих эротических катастроф, она мшистой стеной стояла меж Таней и мной, не оставляя ни единой щели, и мешая слиться телам нашим!...

Мне надоела эта постоянная память о мельнице, где меня постигла первая любовная неудача уже несколько раз сумевшая повториться потом.

Долой мельницу, к черту самое память о ней!!

В этот момент в дверь постучали, кто мог бы быть там, кто мог узнать, что я в Харькове, кому я нужен еще?!

Набросив на себя кое как кое что, посылая мысленно самые свирепые ругательства незванному визитеру, я приоткрыл дверь.

За дверью стоял парень лет пятнадцати.

— Паньчу: вы нам двадцать пять рублей за яишницу оставили, так мамаша прислала вам сдачу...

Он стоял протягивая мне какие то монеты и бумажки... Я не смогу рассказать вам того возмущения на этот раз деревенский честностью, которое переполняло меня всего до краев.

Я зарычал, зашипел, подпрыгнул, хлопнул дверью, оставив наивного посланца в корридор в полном недоумении и не решительности, в которой; должно быть помог ему разобрататься, стоявший рядом и ухмылявшийся лакей. Звездочка была напугана неожиданным вторжением мальчика из харчевни.

— Видишь это мельница вспомнила о нас, она послала напомнить нам о себе...

Я ненавидал мельницу, ненавидел самое память о ней.

Я взял вино и фрукты.

— Звездочка, давай пить, у мельницы три крыла, а мы с тобой владеем четырьмя крылами молодой любви, мельница старая, она клячей клято работала всю жизнь, а мы с тобой быть может минем чашу работы по принуждению... Мельница растирает зерна, она разрушает жизнь, молодые чувства, надежды нив: она превращает в муку, а мы будем сеять и взращивать зерна новой жизни.

Таня, выпей за мельницу и забудь эту старую ворону степей... Мы опьянели от вина и еще более от близости наших тел.. На устах был сок ароматных плодов, сочных поцелуев. Я постлал простыни и одеяла на пол и мы играли и катались на этом широком ложе, и наконец пришел долго жданный, призываемый мной так долго миг — я овладел телом, которое мне предлагалось с таким жаром, готовностью и усердием...

Таня была моей.....

На следующее утро Таня не уехала Крым; двое суток мы не выходили из нашего номера; это было счастье, которое изнуряло наши тела, но душу наполняло неизмеримым восторгом земного блаженства, в котором были легкие окна в надземное, в невременное. Нам казалось, что никогда мы больше не расстанемся, что нам быть вместе всю жизнь; мы строили планы о нашей совместной жизни; завтра мы поедем Крым.

Не поездка, а продолжение этого нечеловеческого блаженства любви: только для нея жить, только во имя ея!!

Прошло двое суток — они промелькнули для нас, подобные мгновению, но в них столько радостного смысла, что память о сладости, останется первой главой нашего длинного — на всю жизнь романа... не правда ли Таня?.

Наконец настало утро нашего отъезда Крым.

Я расплатился гостиннице, констатируя, что у меня наличности осталось после всего около двадцати рублей...

Я уговорился Звездочкой, что она поедет на вокзал и там будет ждать меня, а я на полчаса заеду домой взять необходимые вещи. Вещи я собрал очень скоро, но оставалось более трудное и более важное достать денег, я отправился к своей матушке.

— Мама мне нужны деньги...

— Как ты уже растратил все тетино наследство...

— Мама я очень спешу не будем говорить об этом...

— Ну вот тебе двадцать пять рублей...

— Мама — вы смеетесь — я еду Крым...

— Ты в Крым?.. Зачем?..

— Мама я спешу...

Ну вот возьми пятьдесят рублей..

Моя добрая матушка набавляла мне по двадцать пять рублей, наконец я достиг сум-

мы в двести рублей, схватил свой багаж, вскочил на извозчика и примчался на вокзал.

Неся свой чемодан я поспешил к билетной кассе она была закрыта, я бросился на перрон и выскочил мимо пытавшегося меня задержать высокого толстого швейцара, как раз в тот момент, последний вагон севостопольского поезда исчезал, быстро минуя платформу...

Крым я не поехал, раздосадованный, встретился с каким то собутыльником и пьянствовал до тех пор пока от моих двух сот рублей ничего не осталось

— А что же вы встречали потом Звездочку.. спросил футурист?

— Вам не надоело еще слушать — ответил офицер рассказчик — вы видите художник то ведь давно спит, я боюсь что мой рассказ может беспокоить его.

— Но он на обладателя бархатных брюк влияет весьма снотворно.

— Хорошо, сказал офицер в хорошем расказе бывает эпилог, ладно вот вам и

XXI. ЭПИЛОГ.

Прошло несколько лет: моей жизни случилось много нового; я много работал; еще больше пил и ухаживал за женщинами, руководимый целью ухаживания я был не дурным таншором: посещал балы в общественном собрании а как то на маслянице попал и на маскарад, устроенный театром „Зеленое Кольцо“. Толпа масок кружилась вокруг меня: я был без маски, на плечи я накинул темный плащ с капюшоном, долженствующий изображать костюм монаха.

Маски кружились вокруг меня, я всматривался в то, что оставляет видеть маска, маска в женщине оставляет открытым почти все, то что закрыто не так важно, я с удовольствием поглядывал на ножки в разноцветных чулках в игривом танце иногда видимые, на голые плечи, на роскошные груди сотрясавшиеся при фигурах танца: маска закрывает в женском теле ничтожную часть, но под маской между тем трудно узнать даже иногда весьма знакомую особу.

— Монах... раздалась над моим ухом, вы наверное забыли старую мельницу на холме, когда начинается рассвет и старуха гонит своих коров.....

Вздрыгнул... Звездочка... нет это не она... голос не ея, не ея взгляд, хотя может быть за эти годы она изменилась; в сутолке жизни я не часто вспоминал ее.. Я мог забыть, мог извратить ея очерк. Нет это не она!! Всматривался....

И однако: мы ходили под руку с маской между колоннами, здесь было меньше народу, здесь я мог разоблачить интриганку.

Но она не дала мне приподнять и крошечек черной маски, которая закрывала от меня всю ее: я не мог узнать в ней ни одной черты, а между тем она интриговала меня все более и более...

Незначай она бросила такие штрихи из моей жизни, знакомые ей и очевидно давно и хорошо, что могли быть известны только самому близкому человеку.

— Поедем ко мне. — сказала маска.

На улицах после бывшей днем оттепели сильно подморозило: санки скользили и закатывались на косогоринках и поворотах.

— Это Звездочка думал я — она только сильно изменилась, я просто забыл ее: я обни-



Японка играющая
на самисене.

Д. БУРЛЮК.

(Рис. 1922 г. Кобе.)

мал ее, не столько с целью удержать ее тело от падения, сколько из блаженного чувства обнять такое близкое, утерянное и вдруг вновь найденное...

— Ты ошибаешься: не спеши, не посмотри, кого встретишь дальше...

В уютной квартире — и здесь действовала чья то рука которой было известно обо мне слишком многое: мои любимые кушанья... Даже в подборе вин наблюдалось тоже знание! Приехавшая со мной маска продолжала скрывать себя, она ввела меня в соседнюю со столовой комнату предварительно завязав мне глаза носовым платком: кто то обнял меня и шептал мне на ухо:

— Ты помнишь как мы пили ликер на крыльце сельской школы... ты помнишь фейерверк?... А поездку к старой мельнице неужели забыл ты?

Это было свыше моих сил. Звездочка!... закричал я и сорвал платок.....

Офицер лег на подушку и укрылся футоном он собирался спать.

— Что же спросил футурист вы были счастливы при этой встрече с ней.

— С кем?..

— С Звездочкой, вы же с ней встретились.

— В том то и дело, с ней я никогда после того, как опоздал на поезд, не встречался, да и никто не мог мне сказать куда она уехала и что с ней случилось.....

— Но эти две, интриговавшие вас, особы?..

— Маска на балу оказалась курсисткой, а та другая хозяйка квартиры — помните — этой медлительной барышней, что была на вечеринке в школе, которую Звездочка застала со мной, выйдя на крыльцо.

И в это свидание и те, которые последовали я мог убедиться, что вялость Зины за эти несколько лет уступила место нежной женственности....

Я пережил с ней несколько счастливых часов, но должен сознаться, что ни одно наше свидание не проходило без того, чтобы мы не вспоминали исчезнувшую Звездочку...

XXII. ЖИВИТЕ НА БЕРЕГУ!

Если предстоит поселиться на острове в океане, то самое лучшее выбирать дом сто-

ящий на берегу моря, ибо оно дает постоянную непривычную картину своей жизни...

Море постоянно дает пищу воображению: зрение, слух, обоняние, даже осязание постоянно получают от совместной жизни с стихией Морской Души новые и оригинальные впечатления: вкус рудиментарное чувство нашей природы пробуя морскую влагу, не находит в ней обширного содержания, но зато он может построить целую гамму, вступив на поле ознакомления с диковенными привкусами безконечных морских обитателей, попавших на стол.

Осязание, также не дает особо разнообразных по тонкости переживаний, имея море своим объектом; опущенная с лодки в прозрачность струй рука; умывание разгоряченного лица, и простые однообразные, но стихийно мощные осязательные переживания всего тела в купальный сезон.

Простое рудиментарное... А как сложно!.. Неизяснимо по сладости облизнуть, возвращаясь от моря к дому, верхнюю губу и вдруг почувать на ней тончайший невыразимый вкус морской соли, а поцеловать оветренную щеку дикарки, под шум прибоя, когда на устах вы будете иметь пушистое напоминание о вкусе зелено-голубых зыбей.

Но если селиться на острове, то надо выбрать дом у самого берега моря, оно дает зрению и слуху неустанную работу наблюдения.

Душа живущего сростается с Душой Моря, бытие живущего бьется одним пульсом с Сердцем Океана.

В жизни моря свои радости, печали, заботы и покой отдыха. Человек заражается чувствами, рождающимися в лоне всегда раскрытого пред ним моря; оно может заменить календарь, за которым, в провинции следят с таким вниманием, срывая дни лист за листом и внимательно разбираясь в той особой жизни коя отпечатлелась на каждом листочке.

В море бывают дни озабоченной серой работы: оно гонит стада безконечных мелких воли, грызущих неустанно, неусыпно берег; у моря бывает дни ослепленной ярости — оно накидывает саваны пены на утесы берега.

У моря бывают праздники: минуты величавых шествий, торжеств, когда и небеса и воды кажутся увешанными сказочными флагами ликования и восторга.

Художник в бархатных брюках каждое утро ходит писать рассвет над морем.

Это не краски, а букет разбросанных, обрызганных свежестью ароматных цветов.....

Море поучает, развлекает, забавляет, утомляет, бодрит, делает безпечным, способно сделать мудрым!!!

Одним из условий поучительного бытия у моря — должен быть открытый горизонт; горизонт — высшая точка выражения величавой мудрости и не зыблемости. Прямая линия горизонта говорит о вечности: прямая это выражение покоя: первое впечатление — то, что нельзя не заметить! — прямая линия, горизонталь!... А затем, начиная глядеться: заметны безконечные комбинации волнистых линий; волнистая — выражение естественное, понятное глазу с первого маху-движения.

Вечность: покой и впаивание, включенное под иго прямой линии — неумолчное, незнание усталости движение... Возня волн...

Живущий на берегу морском, так близко, что когда откроешь окно, то непосредственно видимое: море, море...

Находишься всегда неотступно под взглядом великанского зеленого, голубого, фиолетового, серого, черного глаза Моря...

Взгляд его вонзен душу живущего, она — раскрытая чаша, куда вливается отзвук безконечных сил обитающих и вечно трепещущих в море.

Человеческий глаз привык видеть неподвижными горы, плоские пространства земли, громоздкие здания — создания рук людских, но небо, когда на нем хоть одно облако, полно движения слабого или бурно — стремительного, но всегда полного легкой, прозрачной воздушности — Но... небо не матерьяльно.

Совсем другое — море: ленивое ли движение его или ураганный скок — глаз чувствует постоянно... Человек представляет ту страшную силу тяжести — толщи воды — которая находится в океане в непрерывном движении.

Ветер и солнце разрушают горы — эта работа незаметна, медленна в ней есть своеобразная безболезненность постепенности; в море снова и снова зарождаются неустанные приступы, направленные на берег и в этом отношении малые крохи, крохи суши — острова особенно заслуживают самого дружеского сочувствия...

XXIII. ПРИЗМА АЛКОГОЛЯ.

Русские живущие на Ошине ничего не пьют: офицер болен, ему пить нельзя, а художники работают и не в их настроении прерывать неустанность работы, а кроме того в Мотомуре нельзя достать ничего, только пиво и сакэ: лицо избаловавшееся на ежедневном потреблении бенедиктина, не очень падко на эти произведения японского Бахуса...

Но русские развлекаются разговорами и воспоминаниями о различных выпивках: пальму первенства в этом отношении держит офицер — он пил и, когда его послушаешь, как будто ничего другого всю свою жизнь и не делал; всю свою жизнь он воспринимал сквозь призму алкоголя.

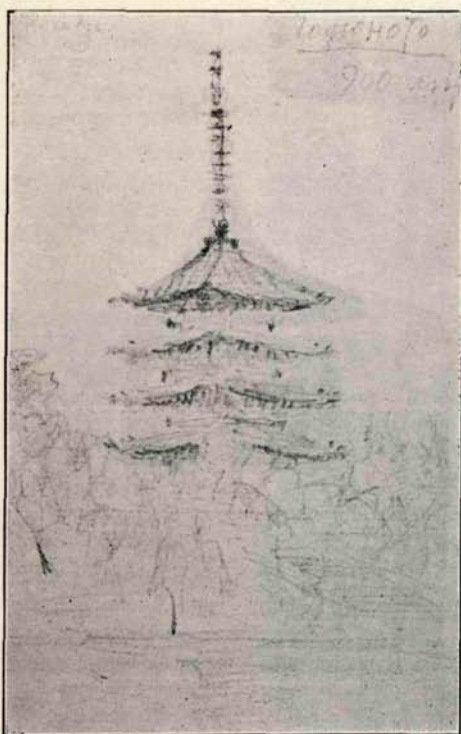
В перспективе есть интересный закон; изображающий какой либо предмет, должен иметь между этим предметом и своим глазом расстояние равное полутора величины изображаемого предмета, иначе изображение будет уродливым; алкоголь приближает все предметы физического и метафизического мира почти к самым глазам и поэтому выпившему все видимое и умолимое, кажется под такими странными углами зрения, даже самые опытные, не в силах бывают разобраться в необычайной путанице происшедшей в следствие смещения нормальных точек зрения.

Для пьяного мир возникает в ненормальной, фантастической перспективе.

Оказалось, что офицер в Японии уже во второй раз, он посетил и ранее однажды подножие Фудзи-Ямы. Его рассказ о первой поездке в Страну Восходящего Солнца — краток.

XXIV. РАССКАЗ О ТОМ КАК Я ПОСЕТИЛ ЯПОНИЮ

не займет много времени — правда в Японии я и пробыл не долго, всего лишь три дня, но поездка эта была очень оригинальна,



Хорудзи. Д. БУРЛЮК.
Священная башня храма в Нара.
(Рис. 1922 г. карандаш.)

и довольно таки в единственном роде, чтобы о ней не рассказать вам. Я был строевым офицером русской службы; дело было еще при Николае 2: в продолжении многих лет другим моим был мильонер НН.

Случилось нам быть с ним во Владивостоке. Отправились в морское собрание; здесь встретили друзей приятелей, служивших в нашем флоте.

— Господа: есть возможность дня на три в Японию с'ездить; „Диомид“ завтра идет в Нагасаки; компанией поедем и с ним же назад вернемся.

Познакомили с командиром „Диомид“, несколькими офицерами и поездка была решена.

На радостях выпили: „за спайку“ — спались здорово, ну потом стали пить „путевые“.

Еле-еле помню, что действительно: точно, как будто бы на пароход садились. Ну а лучшее средство от морской качки—выпить...

Всю дорогу лечились от качки выпивкой...

Точно помню, что, действительно, в каюте был и что все кругом от качки ходило, но была ли буря или так казалось не сообразишь.

Во всяком случае, под'езжая к берегам Японии на радостях мы выпивку гораздо усилили; как сходили на берег и что это был за берег почти совершенно не помню; думаю только, что выгрузка нас с парохода в гостиницу стоила не малых трудов нашим не пьющим хозяевам на гостеприимном пароходе.

Когда мы в гостинице после суток крепчайшего сна отошли, то головы ломило у нас.

— Господа, надо опохмелиться!! сбежали, натащили бутылок и пошло.....

Допились до того, что не только Японии, друг друга не узнавали: никак не разберешь кажись Петухов, а почему с бородой, а у Сидирова были усы, а теперь борода есть, а усов нету.....

Как из гостиницы выбрались, кто платил, кого били, что били, что забыли — ничего не помню...

Отошли немного в море, но тошнота от Японии одолевала до самого Владивостока.

Вот вам и поездка в Японию.....

Приехали все спрашивают, ну расскажите как... что видели?

— А что видел бутылки, рюмки, да и те еле различал, всю неделю без просыпу пили, и как раз эта пьяная неделя совпала, перепуталась с поездкой в Японию...

Вот ничего и не вышло и рассказывать нечего....

Все много смеялись над рассказом офицера об оригинальной поездке.

— Это действительно с'ездили — сказал футурист, а откуда ж денег на все это хватало.

— Денег было достаточно, со мной Н. Н. был, у нас с ним особые счета, я и теперь жду от него деньжонок из Сибири, у него там были золотые прииски...

— Ну большевички наверное все подобрали.

— Все не все, а прииск отобрали. Правда, что он успел десять пудов золота, перед от'ездом оттуда в надежном месте спрятать.

— Найдут

— Найти трудно, он хитро его затопил, на Енисее выбрал отметное место, проводки протянул, цепью увязал и на дно реки пустил; найти никак невозможно...

Теперь он где то там сидит и надеется достать его.

— Чтож он сам мог спрятать так хитро?..

— Нет не сам, ему механик помогал

— Так механик може быть, давно и вынудил все...

— Может быть, а может быть и нет.....

XXV. МОТОМУРА НЕ НАДОЕЛА.

Время от'езда приблизилось. Мотомура, не надоела, не надоели эти чистенькие сарай, совсем малороссийские клуни (риги), в которых окна обклеены бумагой и где часть помещения занята не высоким помостом, устланным циновками — стол кровать и пол Японца вместе;

Не надоели эти без трубые соломенные крыши, эти балки прокопченные дымом; узенькие улицы, где с камня на камень важно ступают, ведомые за кольцо в носу черные с белым коровы, перегруженные клажей на спине и молоком вымени.

Однообразная спокойная жизнь в „хотеру“ 10) ничего не надоело, но надо было ехать Звала жизнь. Большой остров звал уехать с малого.

Художник в бархатных брюках встававший рано до восхода солнца, увидел что можно ехать не в Токию, а на полуостров Ито, так как море спокойно и воспользуясь этим через пролив пойдет небольшое судно парусо — моторное.

Через пролив от острова Ошима до Ито не более сорока верст.

XXVI. ЧЕРЕЗ ПРОЛИВ.

Судно стоит в пятидесяти сажнях от берега. На нем одна мачти; лодкой возят на него разный груз говоря:

— Вот еще („уси“), потом ваши вещи, вас перевезем и поедем...

Совсем небольшой корабль, в задней части его керосиновый двигатель; в середине

ранее упомянутые „уси“ — „быки“ два теленка черный и белый, над ними на верхней палубе на циновках семь пассажиров; команды четыре человека, кроме механика, который, пустив мотор, спит около него, не смущаясь ни чем и равнодушный ко всему.

Парус поднят; место, где сидят пассажиры с подветренной стороны закрыто стеной из циновок и брезента — дурное предзнаменование. Подняли якорь и Ошима начинает становиться все более туманной.

Широкая фигура острова закрывает от ветра большую часть пролива: но мотор и парус быстро выносят суденышко из тени ветра на открытый простор его и здесь, пляска не на шутку, хоть куда!.....

Как море не похоже на зеркальную поверхность!

Оно не подобно и гофрированному листу серого железа. Суденышко то подымается несколько мгновений на холм воды, то вдруг, получив удар в нос, стремительно начинает падать вниз, иногда оно не попадет поперек, волна забирает слегка в сторону его пути и тогда кораблик сваливается то в левую, то в правую сторону, волна вырастает сажени на полторы выше низкого борта, столб — брызг с шумом рушится на нос судна, пассажиры благославляют брезент и циновки, иначе это была бы не поездка, а соленая ванна.

Как море не похоже не „зеркальную поверхность“. Оно все покрыто рывтинами с сглаженными краями или же котловинами, в которые возможно спрятаться отряду конницы!

Водяные холмы все время уступают место водяным впадинам. Человеку не ездившему при таких условиях необычно и крайне жутко. Напуганное воображение рисует тысячи картин человеческих слабостей, ничтожества, пред этой чуждой свирепой стихией.

Русские набрали в дорогу много миканов 11). Вначале не ожидая столь неровной ухабистой дороги, они несколько трусили и упершись ногами в привязанную по середине балку, держась руками, чтобы не выпасть при толчке.....

Привыкали....

Теперь они сидят на крыше над мотором, свежий ветер веселит бодря: солнце бросает на море тысячи расплавленных стекол осколков: Ошима Туманная отходит все дальше: остров теперь кажется коротким.

И морской дали виден только очерк старого вулкана. И теперь отчетливо можно заметить, что собственно острова нет, а есть древнейший расплзшийся, низко срезанный, почти у самого основания вулкан.

Мертвая, зловещая линия труп, если вспомнить нити белаго пара, то не струи ли зловония от труп?!!

Ошима все дальше и дальше, туманный остров теперь похож на большую плевательницу, поставленную в океане.

Великий океан, ночь на малом острове и треск кузнечиков над пальмами напоминали мне о забытом; Неусыпная возня крабов в ручье у моей хижины — о неспешном трудолюбии.

ДАВИД ДАВИДОВИЧ БУРЛЮК.

Написано на
ОГА—СА—ВАРА
Архипелаг Кука.

12 февраля, 1921 года.

ОГЛАВЛЕНИЕ:

Главы	Стр.
1 Пыльное Море	3
2 Что такое Ошима	3
3 Японская гостиница	3
4 Фудзи — Сан	4
5 Нэйсан	4
6 Парочки	4
7 Золотой Корабль	5
8 Кладбища	5
9 Вулкан	5
10 Офицер рассказчик	6
11 Лунная путаница	6
12 Чертенюк	8
13 Ревматизм	9
14 Двенадцать месяцев Любви	10
15 Рыбаки	10
16 Мойка посуды	11
17 Старина напоминает о себе	11
18 Трудно холостяку	11
19 Несколько рассуждений о любви	11
20 Второй рассказ офицера	11
21 Эпилог этого рассказа	17
22 Живите на берегу	18
23 Призма Алкоголя	18
24 Рассказ о том как я посетил Японию	18
25 Мотомура не надоела	19
26 Через пролив	19

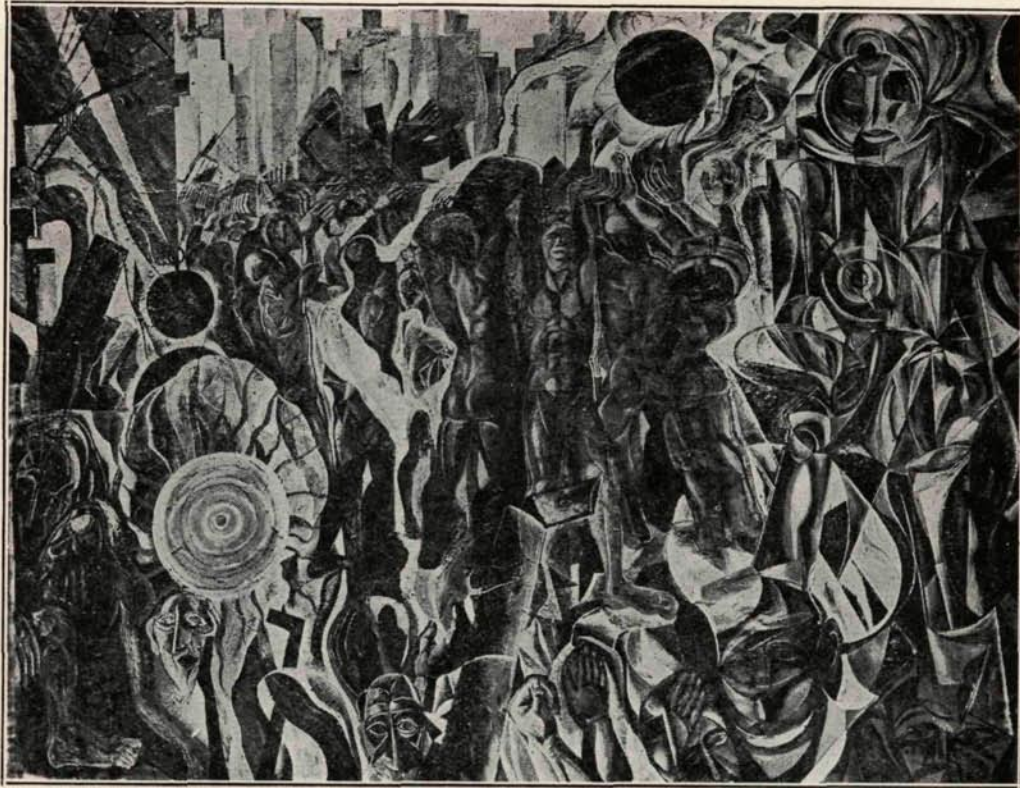
ОБЪЯСНЕНИЕ СЛОВ.

1. **Хибач** — Хи—огонь: Бач—Ящик. род—очага.
2. **Иена** — равна рублю.
3. **Футоны** — матрацы из ваты: одеяла.
4. **Бангосан** — швейцар, ловкий малый.
5. **Фуру** — баня.
6. **Сена** — копейка.
7. **Нейсан** — горничная.
8. **Самисен** — струнный инструмент: род балалайки
9. Рассказчик спутал Лермонтова с А. С. Пушкиным.
10. **Хотеру** — гостиница.
11. **Микан** — мандарин, (апельсин).

ПРИГОТОВЛЕННЫ К ПЕЧАТИ

СЛЕДУЮЩИЕ КНИГИ Д. БУРЛЮКА:

-
- Два года в Японии. Очер. и записи. (100 стр).
- „Лестница Иакова” роман из предреволюционной жизни. (150 стр.).
- „Простая Жизнь” — в двух томах из эпохи Колчаковщины. (200 стр.).
- „Стихи об СССР” — сборник.
- „Беременный Мужчина”, сборник стихов, 1902—1917 гг. (175 стр.).
- Сборник юмористических рассказов.
- „Нью Йорк” — пером и кистью.



Приход механического человека.

Д. БУРЛЮК.

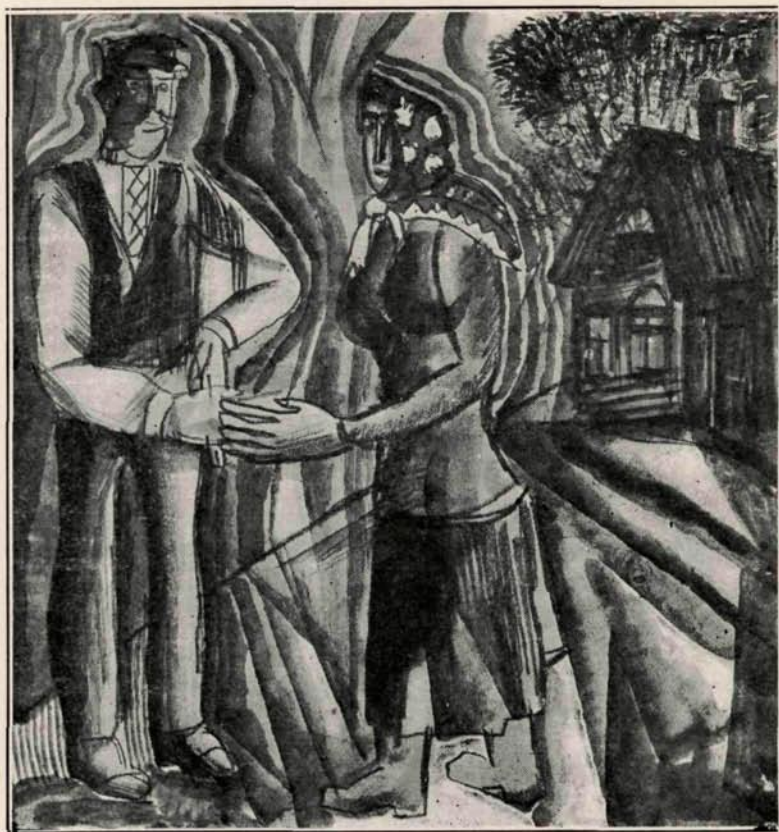
Фреска. пис. 1925-7 гг.

Была выставлена в Бруклинском музее в 1926 г. и на „Независимых” 1927.

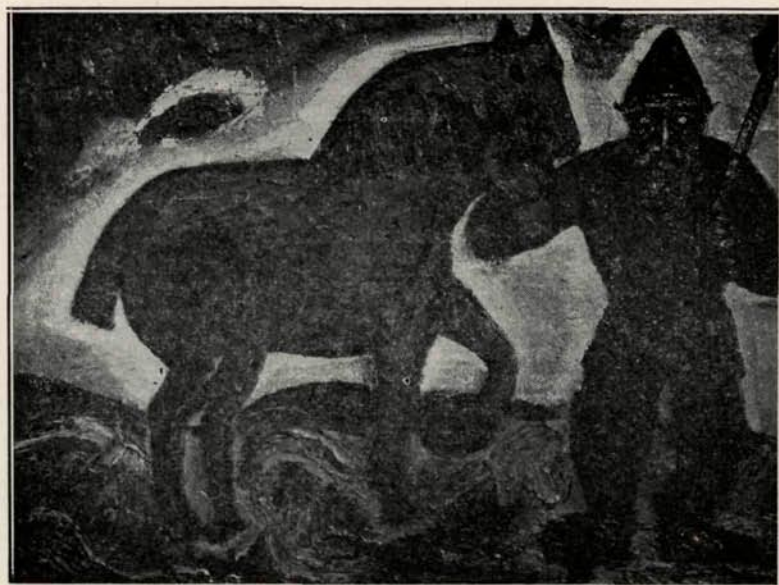


Человек лошадь.
1923 г.

Д. БУРЛЮК.



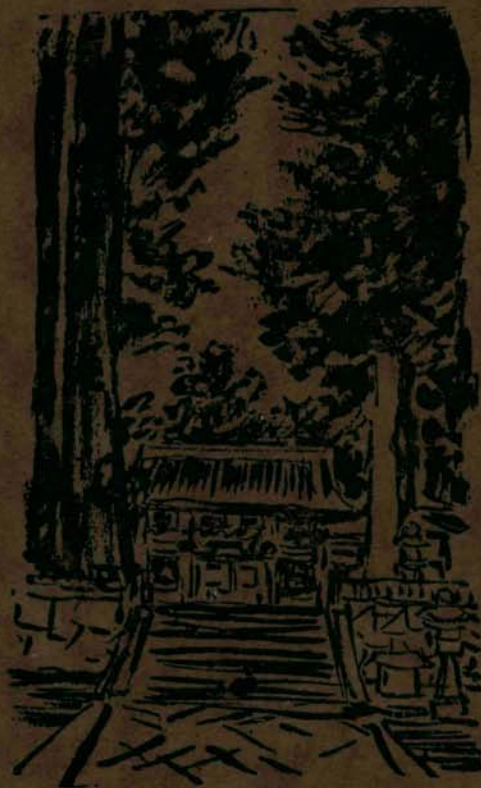
Парень и девушка. (1925 г.) Д. БУРЛЮК.
В собрании д-ра эстетики Крисчен Бринтона С. Шт.



Скиф с лошадью. (масло.) Д. БУРЛЮК.
Собствен. д-ра Кр. Бринтона.

50 руб.

4/3



Японский храм.

Д. БУРЛЮК.

Просьба к издательствам, заинтересованным в опубликовании моих трудов
— обращаться по адресу:

DAVID BURLIUK

2116 Harrison Ave., New York, U. S. A.

Telephone Sedgwick 1124

Клише исполнены:

Mr. P. KAFTAN, N. Y. C.

Фотографии исполнил худож. фот.

А. СЛАВКОВ, N. Y. C.

Печатано в типографии:

The ATLANTIC BAZAR Co., Inc., N. Y. C.

7-227/3